



Виктория
ТОКАРЕВА

ЕХАЛ ГРЕКА

ПОВЕСТЬ

Ночью мне приснился мой умерший отец. Он сказал странную фразу: «Отдай ботинки Петру».

Я, наверное, спросил бы у него: «Почему?» Поинтересовался бы, с какой стати я должен отдать Петру свои новые английские ботинки, но в этот момент в мою дверь постучали. Негромкий настойчивый стук будто выманил меня из сна.

Я открыл глаза, не соображая, утро сейчас, или вечер, или глубокая ночь.

— Вас к телефону,— объявила соседка Шурочка.

Шурочка подходила к каждому телефонному звонку в надежде, что звонят ей, но ей никто не звонил. И каждый раз в ее «Вас к телефону» я различал еще один грамм подтаявшей надежды.

— От меня ушла жена,— сказал в трубку Вячик.

— А который час? — спросил я.

— Восемь.

— А когда она ушла?

— Не знаю. Я проснулся, ее нет. Позвони ей, пожалуйста, и скажи: «Галя, ты сломала Вячику крылья. Он сдался. Делай с ним что хочешь, он на все согласен. Только вернись». Запомнил?

— Запомнил,— сказал я.

— Повтори,— не поверил Вячик.

— «Галя, ты сломала Вячику крылья. Он на все согласен. Только вернись».

— Ты пропустил: «Он сдался, делай с ним что хочешь».

— Это лишнее,— сказал я.

— Почему?

— «Делай с ним что хочешь» и «он на все согласен» — одно и то же.

— Да? Ну, ладно,— сказал Вячик.— Ты позвони ей, потом сразу мне.

Вячик — руководитель нашего ансамбля. Он композитор. Творец. Первоисточник.

Талантливые люди бывают двух видов:

1. С чувством выхода — это творцы. Это Вячик.

Рисунки
Татьяны
ЗЕЛЕНЧЕНКО.

2. Без чувства выхода. Это я.

Я слышу музыку, понимаю, но не могу выразить, и все остается в моей душе. Поэтому в моей душе бывает тесно и мутно.

Я положил трубку и пошел на кухню.

Шурочка стояла над кастрюлей с супом и выжидала, когда на его поверхность всплывет серая пена, чтобы тут же ее выловить и выбросить.

У Шурочки был тот тип внешности, которому идет возраст. Сейчас она была молода, а потому незначительна.

У Шурочки был муж — аспирант и сын — младший школьник. Все они жили в одной шестнадцатиметровой комнате и существовали посменно: когда отец писал диссертацию, мальчик носился по коридору, как дикий зверь в прериях. А когда он делал уроки, отец, в свою очередь, выходил в коридор, садился на сундуке возле телефона и просматривал периодику.

Я поздоровался с Шурочкой и рассказал ей свой сон.

— А отец тебя обнимал? — спросила она.

— Не помню. А какое это имеет значение?

Шурочка попробовала свой суп и некоторое время бессмысленно глядела в стену, определяя, чего в нем не хватает.

Зазвонил телефон.

— Ну? — спросил Вячик.

— Что «ну»?

— Звонил?

— Нет.

— Понятно,— догадался Вячик.

Я деликатно промолчал.

— Она еще хуже, чем ты о ней думаешь,— сказал Вячик.— Ты даже представить себе не можешь, что это за человек. Она успокоится только тогда, когда втопчет меня в землю... Ну, ладно. Извини. Я сам позвоню.

— И ты не звони,— попросил я.

— Почему?

— Ты себе цены не знаешь. Ты делаешь счастливее все человечество.

— Да,— согласился Вячик.— Но меня может сделать счастливым только она одна.

— Ну ладно,— сказал я после молчания.— Как там про крылья?

— «Ты сломала Вячику крылья. Он сдался. Делай с ним что хочешь. Он на все согласен. Только вернись», — проговорил Вячик несокращенный вариант.

Я положил трубку и набрал номер Гали.

Там долго не снимали. Наверное, Галя стояла, подбоченясь, над трезвонящим телефоном и хихикала. Потом сняла трубку и произнесла с иностранным акцентом:

— Хелло... у,— и при этом, должно быть, высокомерно посмотрела на себя в зеркало.

— Вот бросит он тебя, куда денешься? — спросил я.

— А кто это? — без иностранного акцента спросила Галя.

— Спрашиваю я. Куда ты денешься, если Вячик действительно тебя бросит?

Галя оробела. Наверное, ей показалось, что звонит кто-то важный из канцелярии Высшей Справедливости.

— Куда все, туда и я,— ответила Галя.

— Все работают. А ты работать не любишь.

— Я буду петь.

— Петь ты не умеешь.

Гале действительно все равно, что петь и как петь: сидя, лежа или стоя на руках вниз головой.

Галя молчала, должно быть, раздумывала.

— Но я больше не могу,— сказала она упавшим голосом.

— Можешь.

Я положил трубку и пошел досматривать свой сон. За Галю и Вячика я был спокоен: сейчас они помирятся, потом опять поссорятся.

Я лег и закрыл глаза. Вернее, я лежал с открытыми глазами под опущенными веками.

Сейчас начало десятого. Мика сидит у себя в лаборатории, смотрит, прищурившись, в микроскоп и жалеет себя.

Я позвоню ей, она снимет трубку и отзовется слабым, будто исплаканным голосом.

— Ты чего? — спрошу я.

— Я не спала,— скажет Мика и замолчит молчанием, исполненным достоинства.

— И напрасно,— скажу я.— Ночью надо спать.

Мы ходим вокруг да около, чтобы не говорить о главном. А главное в том, что мы не женимся.

А не женимся мы потому, что я не могу никому принадлежать дольше, чем полтора часа в сутки. Когда истекают эти полтора часа, во мне развивается что-то вроде мании нетерпения. Мне хочется вскочить и бежать, как в атаку.

Мика — единственный человек, который меня не утомляет, потому что в ней идеально выдержаны пропорции ума и глупости. Я могу быть с ней три и даже четыре часа. Но ей нужны двадцать четыре часа и ни секунды меньше. Она постоянно поругивает Вячика и как бы оттягивает меня от него, поскольку Вячик — мой друг. Она хочет, чтобы я принадлежал ей весь. И сейчас, сидя у себя в лаборатории, она бы разглядывала в микроскоп мой волос—каков он на срез: круглый или продолговатый...

— Вас к телефону,— позвала Шурочка.

Я знал, что это Мика. Когда я о ней думал, она это слышала, поскольку мысль материальна.

— Ты билет взял? — спросила Мика.

Она имела в виду билет на самолет. Самолет должен был переместить мое тело из Москвы на юг. Из весны в лето.

— Взял,— сказал я.

Мика молчала.

С одной стороны, она беспокоилась о моем здоровье и хотела, чтобы я отдохнул, чтобы дольше был живым и дольше любил ее. С другой стороны, я уезжал и оставлял ее без себя на двадцать четыре дня, и целых двадцать четыре дня ее жизнь не имела никакого смысла и была ей в тягость.

Когда я уезжал на гастроли или в отпуск, Мика погружалась в стоячую глубину времени и существовала, как утопленница. Даже хуже, потому что утопленники ничего не чувствуют, а она страдала.

Мика любила меня из года в год, изо дня в день с неослабевающей силой, будто внутри у нее был мотор, вечный двигатель, перпетуум-мобиле, и с ним ничего не происходило.

Сколько раз я ронял этот мотор, бил его, терял, но он не ржавел, не снашивался и не разбивался. Это было какое-то самозаряжающееся устройство.

— Жаль, что ты не можешь взять отпуск,— сказал я.

Мика не ответила. Жаль мне или нет,— это не меняло дела. Я все равно уеду, а она все равно останется.

— Мне грустно,— сказала Мика.

— Нет,— ответил я.— Ты счастлива. Ты не понимаешь этого.

Страдание — оборотная сторона любви и, значит, тоже входит в комплекс «счастье».

Мика тянет ко мне руки, а ее руки уходят в пустоту. Она зажимает меня в кулак, а я, как песок, просачиваюсь сквозь пальцы. И есть я, и нет меня.

Я слышу сумятицу, которая происходит в ней, и мне хочется положить трубку.

— Ну, пока! — говорю я.

— Подожди! — вскрикивает Мика.

Я почти чувствую, как она хватает меня за рукав. Но когда меня хватают, мне хочется вырваться и убежать.

Я стою и изнываю от нетерпения.

— Ну, пока,— вдруг соглашается Мика.— Счастливого отдыха!

Она не злится мне на меня, а отпускает и даже желает счастливого отдыха. Почему?

Мне хочется тут же позвонить к ней в лабораторию и выяснить: все ли в порядке с вечным двигателем, не проржавел ли он от моего эгоизма.

Я смотрю на телефон. И Мика тоже, должно быть, смотрит на телефон. Мы стоим с ней по разные концы города, как два барана на мостике горбатом, каждый со своей правдой.

О, могущество мужчины, не идущего в руки.

Телефон зазвонил.

— Скажи мне что-нибудь человеческое,— попросила Мика.

Я мгновенно успокоился. Так ведет себя человек, проверяющий в кармане документы и деньги. Документы на месте, и он моментально о них забывает.

— Я люблю тебя,— говорю я Мике, забывая о ней.

Мика неестественно притихла.

— Ты где? — спросил я.

— Тут.

— А почему ты молчишь?

— Плачу.

Может быть, ее вечный двигатель заряжается слезами...

В коридоре появился Шурочкин сын Пашка Самодеркин — человек семи лет.

— Что такое грека? — спросил Пашка.

— Какая грека? — не понял я.

— Ехал грека через реку,— объяснил Пашка.

— Это грек.

— Тогда почему не «ехал грек через реку»?

— Нескладно,— сказал я.— Тогда получится «ехал грек через рек».

Пашка подумал, потом сказал:

— Грека — это его жена. Он грек, а она грека.

— Тогда было бы «ехала грека через реку»...

— А может, они наших падежей не знают. Это же греки.

Я задумался: что возразить Пашке? Пашка тоже задумался, глядя куда-то в пространство.

— Я должен равняться на Федора Федоровича Озмителя,— неожиданно, без всякого перехода сообщил он.

— А кто это?

— Герой-пограничник. Нас водили в Музей пограничных войск.

— А как ты собираешься равняться? — поинтересовался я.

Пашка посмотрел на меня. Потом скосил глаза в стену. Соображал.

— Не знаю,— сказал он.— Нам еще не объяснили...

До отправления самолета оставалось сорок минут. Я стал в очередь и зарегистрировался.

Мой багаж состоял из одного маленького чемодана на «молнии». Сдавать его я не стал, чтобы потом не ждать получения.

Когда я чего-то жду, я не могу при этом ни думать, ни читать. Я только жду, и ничего больше. Во мне накапливается кинетическая и потенциальная энергия, и мне хочется что-то свершить. Но свершить нечего. Я вынужден стоять со смирением воспитанного человека и при этом чувствовать себя, как нераскрытая консервная банка, которую поставили на медленный огонь.

Я зарегистрировался и отошел вместе с чемоданом.

От аэропорта до Адлера — два часа самолетом. А до моего дома — два часа на общественном транспорте. Так что я могу считать себя на середине пути, но я ощущаю себя гораздо дальше, чем на середине.

Я полностью отторгнут от своей комнаты в Петроверигском переулке, от инструментального ансамбля, от Микиной любви. Я свободен и ощущаю свою свободу непривычно, как человек, вышедший из тюремных ворот пять минут назад.

Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж.

Вот дверь с табличкой «Начальник аэропорта». За дверью, должно быть, сидит сорокалетний седеющий человек и думает: «Я выбился в начальники. Ну и что?»

Вот парикмахерская. Женский зал.

А вот и парикмахерша, вернее, маникюрша. Она сидит особняком за маленьким столиком и смотрит в окно, как я во время репетиции. То ли скучает в ожидании клиента, а может, продумывает свое место в сфере обслуживания.

Маникюрша похожа на царевну-лягушку в тот момент, когда она из лягушки уже превратилась в царевну. Очевидно, что она красавица царевна, но и заметно, что недавно была лягушкой. У нее чуть удлиненный рот и чуть выпученные глаза.

Глаза у нее, как озера, в которых отражаются белые облака. Они очень светлые, просторные. Выражение лица такое, будто ей рассказали что-то интересное и просили больше никому не передавать.

Царевна-лягушка посидела, потом поднялась и пошла куда-то в недра парикмахерской.

Линия шеи и плеча у нее совершенная. Если бы она сутулилась, то линия была бы нарушена. Поэтому она ступала прямо, и не просто шла, а несла свои линии и веселую тайну своего лица.

Царевна-лягушка вернулась с кувшином горячей воды и несколько раз посмотрела в мою сторону.

— Что вы хотите? — спросила она.

— Маникюр.

— Садитесь,— пригласила она, не удивившись. Может быть, невозмутимость — это ее юмор. А может быть, все знакомятся с ней подобным образом: не я один такой умный.

Я вошел и сел напротив.

Она протянула мне раскрытую ладонь, и я вложил туда свою руку. Я дал ей лапу, как собака, и так же посмотрел в глаза. Она не приняла мой взгляд. Не взяла меня в собаки и не пошла в хозяйки. Холодно спросила:

— Лаком будете покрывать?

— Конечно.

— Бесцветный?

— А какой модно?

— Красный. Как при нэпе.

— Значит, красный.

Я думал, она спросит: «Зачем вам крашеные ногти?» С этого вопроса началась бы наша беседа. Она началась бы сегодня, а окончилась лет через пятьдесят. Но царевна-лягушка ни о чем меня не спрашивала. Молча плеснула воду из кувшина в пластмассовую чашечку. Насыпала туда порошок, взбила пену. Потом с деловым видом сунула мою

руку в горячую воду. Достала мизинец и стала состригать то, что казалось ей лишним.

Мика сильна своей зависимостью от моей жизни. А эта сильна своей независимостью. Через десять минут поднимет на меня небесные глаза и скажет: «Вы свободны». И хоть ты тут умри.

Из репродуктора доносилась песня про Стеньку Разина, как он плыл из-за острова на стрежень. Голос у певца был могучий, супермужской — должно быть, певец ассоциировал себя с самим Степаном Разиным.

Царевна-лягушка перебирала в руках мои пальцы, склонив голову. Волосы у нее не темные и не светлые — серенькие, как перья у жаворонка. Кстати, я никогда не держал в руках жаворонка и не видел, какие у него перья.

— Некрасиво персиянку топить,— сказал я.

Царевна-лягушка отвлеклась от моего указательного пальца и подняла свои глаза под высокими бровями.

— Почему некрасиво?

— Ну, представьте себе: у нее папа — перс, князь. Она у него единственная дочка. Пришел посторонний человек, увел из родительского дома, посадил в лодку, набитую невоспитанными разбойниками. И вместо того, чтобы защитить, взял и выкинул за борт. В набежавшую волну.

— Глупости,— сказала царевна-лягушка.— Здесь дело не в персиянке, а в народно-освободительном движении. Общее дело должно быть выше личных интересов.

— И вам ее не жалко?

— Так вообще вопрос не стоит.

Она отвинтила крышку от темной бутылочки и макнула туда кисточку.

Я ждал, что будет дальше.

Царевна-лягушка виртуозно провела кисточкой по всем десяти моим пальцам. Ногти получились яркие, блестящие, как леденцы.

Я сидел, протянув к ней руки с растопыренными пальцами, и в этот момент между нами проскочила искра,— та самая, которая проскакивает между двумя грозовыми тучами, когда они близко подходят друг к другу. Та самая, от которой сверкает молния, гремит гром, на землю проливается дождь и из земли выбивается тонкий зеленый росток.

— А зачем вам крашеные ногти? — дрогнувшим голосом спросила царевна-лягушка.

Мне захотелось протянуть руки еще на десять сантиметров и положить их на совершенные линии шеи и плеча.

— Ведь на Западе делают маникюр,— ответил я тоже дрогнувшим голосом.

— На Западе и губы красят. Мы же с вами не на Западе.

Я сглотнул, чтобы проглотить волнение. Отвел глаза с ее лица на свои повисшие в пространстве руки. Соскользнул глазами от ногтей к запястью. Застрял взглядом на часах.

Если аэропорт работает по расписанию, то мой самолет ушел три минуты назад. А если здесь опаздывают так же, как и везде, если вдруг решили перед отлетом покрепче привернуть нужную гайку, то я успею.

Я мгновенно запер в себе все чувства, будто повернул ключ на два оборота. Оставил только собранность и ощущение цели.

В течение трех секунд я расплатился с царевной-лягушкой, при этом у меня смазался неподсохший лак.

На исходе семьдесят пятой секунды я уже бежал по летному полю, а за мной гнались и меня ловили двое людей в служебных фуражках. Я вырывался и пытался объясниться, но не словами, а жестами. Они меня урезонивали — не жестами, а словами.

Кончилось все это тем, что трап отошел, и мой самолет поехал на взлетную полосу. Я мог бы догнать его и, ухватившись за хвост, долететь до Адлера по открытому воздуху. Встречный ветер обдувал бы мои ноги и оттягивал волосы со лба. Я еще мог бы догнать, но меня не пускали эти двое дисциплинированных товарищей.

Когда я вижу свой улетающий самолет или уходящего от меня человека,— кажется, что это последний самолет и последний человек в моей жизни. Так было и сейчас. Я сел на свой чемодан прямо посреди поля и уронил голову на руки.

Один из служителей порядка посмотрел на мои ногти и сказал:

— Подите к начальнику аэропорта, вам обменяют билет.

— Через двадцать минут пойдет дополнительный рейс на Адлер,— сказал другой.— Пока он будет бегать, опять опоздает.

Альтруизм — это разновидность эгоизма. Делая добро ближнему, человек упивается своим благородством. Если и не упивается, то, во всяком случае, доволен.

— Пойдемте с нами,— позвал тот, что был постарше.— Мы вас посадим...

Мои новые знакомцы были из породы эгоистов-альтруистов. А скорее всего, они чередовали в себе черствость с благородством, принципиальность с беспринципностью. Я редко встречал только хамов или только благородных. Человек, как правило, чередует в себе состояния. Для общего психологического баланса.

— А зачем вы ногти красите? — спросил тот, что помоложе.

Я вспомнил про маникюр, а заодно и про маникюршу. За эти несколько минут я успел ее забыть. Самолеты — ушедший и предстоящий — полностью вытеснили из меня хрупкое чувство.

Влюбленности похожи на сорванные цветы и на падающие звезды. Они так же украшают жизнь и так же быстро гибнут.

Каждый смертен, но человечество бессмертно. Это бессмертие обеспечивает любовь.

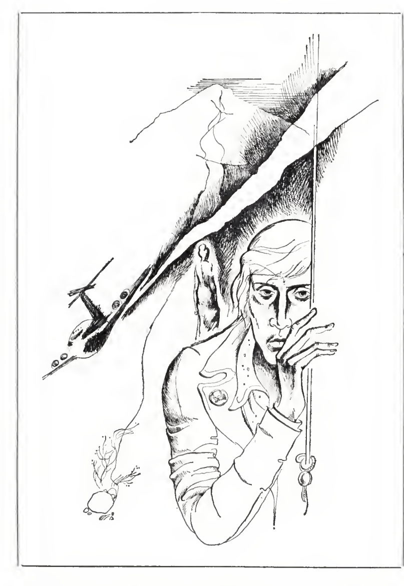
Я забыл царевну-лягушку, но оттого, что я был влюблен, я как бы прикоснулся к бессмертию и стал немножечко моложе.

Самолет взвыл, потом стал набирать какое-то отчаяние внутри себя. Это отчаяние погнало самолет по взлетной полосе. Он все сильнее мчался и все сильнее неистовствовал, доводя звук до какого-то невероятного бесовского напряжения. И когда уже невозможно было вынести, самолет вдруг оторвался от земли и успокоился. Повис в воздухе.

Люди удрученно молчали. Они были заключены в капсулу самолета, от них ничего не зависело, и они ни в чем не были уверены.

Я заметил, что в поезде на отправление не обращают внимания и сразу же после отхода начинают есть крутые яйца и копченую колбасу. В самолете совсем по-другому. Человеку несвойственно отрываться от земли, он чувствует неестественность своего положения и недоверие к самолету.

Против меня сидел мальчик лет шестнадцати. Он был красивый и серьезный, и хотелось говорить ему «вы». Рядом— его папа. Мы с ним примерно ровесники, но выглядим по-разному: папа выглядит респектабельно, соответственно своему возрасту и об-



щественному положению. Он соответствует, а я нет. Я уставший, без мальчишеской романтики и без взрослых обязательств.

Папа подвинул свое плечо к плечу сына, а мальчик чуть заметно вжал свое плечо в отцовское, как бы заряжаясь его любовью и защитой.

Самолет набрал высоту. На крыльях появились крупные капли.

Я смотрел вниз на облака и думал: «Если я выпаду, то облака спружинят и задержат мои семьдесят шесть килограммов».

Мне вдруг превыше всего захотелось коснуться правым плечом своего отца, а левым — своего сына: справа — прошлое, слева — будущее, а я на живом стыке двух времен. У меня есть корни и есть ростки. Значит, я есмь.

Я откинулся в кресле, прикрыл глаза.

Самолет мерно гудел и, казалось, не двигался, а просто висел с включенным мотором.

...Крыло начало медленно отваливаться. Оно повисло, как перебитое, потом отделилось от самолета и осталось где-то позади. А на том месте, где оно было, обозначилась дыра.

Люди закричали. Крик все нарастал и уже перестал быть похожим на человеческий крик. Я почувствовал, как меня тянет, всасывает в эту дыру. Я расставил руки и ноги, как краб, чтобы уцепиться, задержаться. Но меня туго и окончательно выбило из самолета. Я захлебнулся леденящим холодом и полетел. Мимо меня, как падающая звезда, пролетел горящий мальчик. И я заплакал. Я летел и подробно плакал по себе. Облако меня обмануло. Оно не спружинило, а пропустило меня, и я увидел землю, тяжело летящую мне навстречу.

...Я проснулся от толчка.

Самолет шел по бетонной дорожке. Стюардесса стояла в конце салона и желала чего-то хорошего.

Шел восьмой день отдыха.

Ко мне заглянул архитектор и спросил, не хочу ли я совершить восхождение на Кикимору. Я не знал, хочу или нет, но сказал, что очень хочу.

Я снимал комнатку неподалеку от моря, у подножия горы Кикимора. Вместе со мной в доме жили архитектор из Львова с женой и сыном жены.

Архитектор был рыжий и улыбчивый, как клоун. На вопрос: «Как жизнь?» — он отвечал: «Замечательно» — с такой убежденностью, что тут же хотелось поверить и порадоваться вместе с ним.

Архитектор терпеть не мог юг и говорил, что человек, рожденный в средней полосе, должен жить в средней полосе, в левитановском пейзаже. На юг он поехал лечиться от предынфарктного состояния.

Врачи предложили архитектору лечь в больницу, но он решил: если лечь в больницу, смотреть в потолок и слушать свое сердце — надвинутся тревожные отрицательные эмоции, и сердце обязательно разорвется. Надо ехать на юг, плавать в море и бегать по горам. Надо принципиально не замечать своего сердца, и тогда оно подчинится. Как женщина.

Жена архитектора, как я ее понял, — современная хищница, но не в вульгарном понимании: поймать, сожрать. Орудие захвата у современных хищниц: нежность, преданность — подлинные чувства, которым нет цены. Но если жертва не поддается, если они видят, что совершили неудачный рывок в будущее, они полностью изымают свой вклад и помещают его в другого человека. И опять нежность, и опять верность, и не в чем упрекнуть.

У таких женщин, как правило, по одному ребенку, по нескольку браков и неврастения от желания объять необъятное. Они помногу говорят и уходят

в слова, как алкоголик в водку. Они могут разговаривать по телефону по десять часов в день. Если бы словесную энергию можно было использовать в мирных целях, отпала бы надобность в электростанциях, работающих на каменном угле.

Жена архитектора любила проговаривать со мной свою жизнь и свои сомнения. Общаться с ней было очень удобно. Она совершенно не интересовалась собеседником и говорила только о себе, поэтому беседа шла в форме монолога. Я в это время думал о себе — тоже в форме монолога. И если бы наши голоса — ее звучащий, а мой внутренний — наложить один на другой, то получился бы оперный дуэт, когда певцы стоят в разных углах сцены и, глядя в зал, каждый поет про свое.

Сын жены архитектора Вадик — это особая статья. Ему семь лет. Он постоянно рисовал в альбоме, не рисовал даже, а набрасывал. Из-под его карандаша возникали островерхие средневековые замки, рыцари в тяжелых доспехах с паучьими ножками. У каждого рыцаря свой характер. Иногда Вадик зарисовывал свои сны, похожие на ужасы из фильмов Хичкока.

Я звал Вадика «чревовещатель», потому что разговаривал он, не разжимая губ. Чревовещал, как правило, два слова: «Не хочу». Что бы ему ни предлагали: ягоды, фрукты, море, послеобеденный сон,— он ничего не хотел и был углублен в какую-то недетскую, немальчишескую жизнь. Это был сложившийся творческий человек с тяжелым, отвратительным характером. И только когда он пугался или плакал, было видно, что все-таки ребенок.

Я быстро снарядился и вышел на веранду. Вся команда, включая мальчика, стояла во дворе.

Я примкнул к группе. Архитектор тут же двинулся с места в карьер, как конь, которого крепко хлестнули.

Была середина дня. Солнце упирало свои лучи в самую макушку, и через две минуты я понял, что устал. Больше всего мне хотелось сейчас лечь на диван и раскрыть «Иностранную литературу» на прерванной странице. Это было желание, продиктованное чистым чувством, но умом я понимал, что лежать с журналом на диване я могу всю зиму, весну и осень, а попасть на Кикимору — только во время отпуска и только в том случае, если кто-то позовет меня с собой.

Через несколько минут мы подошли к подножию горы и начали восхождение. Вдоль тропинки росли зеленая травка с сухими цветочками, сухой кустарник. Камни и камешки имели какой-то бытовой вид. Казалось, они не скатились с гор, а возникли здесь сами по себе.

Архитектор шел впереди всех — поднимался ровно и мощно, как лифт. Вадик тащился, упрямо глядя себе под ноги, и я ждал, когда он чего-нибудь захочет — именно того, что ему не смогут предложить: ягоды, фрукты, море, послеобеденный сон. Жена архитектора шла, как истая горянка. Горянки привыкли к горным перевалам и даже вяжут по дороге.

Я остановился, снял рубашку и понес ее в руке. Рубашка ничего не весила, но я воспринимал ее как тяжесть. Я устал. Я чувствовал, что дышу по привычке жить. Вдыхаю и выдыхаю, но воздух не утоляет меня...

...Где-то в Старопанском переулке живет мой сын Антон Климов. С его мамой мы разошлись десять лет назад. Мне понятно, почему мы разошлись, но мне до сих пор непонятно, почему мы поженились. Наверное, приняли за любовь томление молодых тел. Мы приняли одно за другое. Совершили ошибку. Антон — результат ошибки, но тем не менее он живет себе и здравствует, и мы с ним два без вины виноватые мужика—большой и маленький.

Он без отца. Я без сына. Мы поровну платим судьбе.

Но если я женюсь в другой раз да еще заведу другого ребенка, то я как бы оставляю Антона на обочине своей жизни, а сам еду дальше. Я-то могу поехать, но с каким лицом, если за моей спиной стоит и смотрит мне вслед светловолосый мальчик, подвижный, как ртуть, говорящий хрипатым басом.

...Я плелся бездыханный по склону Кикиморы и совершенно о ней не думал. Я не умею путешествовать. Я тащу за собой в гору рюкзак своей прошлой жизни. Мне надо либо забывать рюкзак, либо не путешествовать.

Люди переплывают океан на плоту из любопытства к человеческим возможностям. Я совершенно не любопытен к своим возможностям. Я не признаю ложных целей и искусственных трудностей. Я не умею преодолевать себя. Я, например, не люблю вареный лук и никогда его не ем. Я никогда не делаю того, что мне не хочется.

— Эге-гей...— Это мои спутники.

Они сильно вырвались вперед, и им неудобно было друг перед другом позабыть меня в горах. Мало ли что может случиться? Говорят, в горах водятся медведи...

Эластичные плавки не пропускали воздух, и я шел, будто в компрессе. Я огляделся по сторонам. Вокруг было пусто, как в первый день творения. Я снял шорты, плавки и пошел голым. Ветер обвевал меня. Идти стало легче, но раздражала перспектива быть встреченным и опознанным. Я остановился и оделся. И снова пошел. Солнце двигалось вместе со мной и, словно пальцем, надавливало лучом в мое темя.

Тропинка вилась среди кустарника, и я вился вместе с ней, как баран, отбившийся от стада.

И вдруг увидел своих. Я так удивился и обрадовался, будто встретил их за границей, где-нибудь в Аргентине или в Перу.

Неподалеку проходила водопроводная труба. Кто-то эту трубу здесь проложил. Из нее лилась сверкающая вода. Вадик пил, подставив под струю ладошку горсточкой. Я думаю, он пил потому, что ему запрещали.

Вдоль по трубе, тесно прижавшись друг к другу, сидели маленькие птички, похожие на ласточек. А может, и ласточки. Их было штук пятьдесят или семьдесят, и они совершенно не стеснялись присутствия людей. Именно так я представляю себе рай: тишина, низкие деревца, сверкающая вода, доброжелательные птицы. Когда я приблизился к трубе, они торопливо защебетали — поделились впечатлениями. Наверное, сказали: «А вот еще один» или «Какой симпатичный»... А может, они видели меня без плавок и говорили об этом. Потом вдруг взлетели, сбившись в тучку, и снова сели, но не так плотно, а кто куда: на трубу, на траву, на деревца.

Вода была холодная и не имела никакого вкуса. Мне казалось, что я пью жидкий воздух. Наверное, натуральная вода не имеет ни запаха, ни вкуса. Просто раньше я никогда не пил натуральную воду.

Я рассчитывал прилечь на травку и насладиться райской обстановкой. Но архитектор скомандовал:

— Пошли!

И все с удовольствием поднялись с земли. Видимо, они довольно долго меня ждали, успели как следует отдохнуть и даже пресытиться неподвижностью.

Я покорно пристроился в цепочке последним — за женой архитектора. Время от времени она оборачивалась и говорила мне:

— Посмотрите, какая красота!

В какую-то минуту я понял: сейчас могут произойти два события. Либо у меня откуда-то из дальних резервов организма откроется второе дыхание, либо я сейчас лягу и погибну во цвете лет, оставив Мику без любви, ансамбль без трубы, мать без сына, а сына без отца.

Моя цель — вершина. Но стоит ли она таких затрат? Как говорят экономисты, рентабельна ли моя вершина?

Жена архитектора подала мне руку. Она тоже устала. У нее упали плечи и мускулы лица. Она перестала быть интеллектуальной хищницей, а стала только тем, что она есть: уставшей женщиной в середине жизни.

Все кончается когда-нибудь. И наше восхождение закончилось. Мы ступили на вершину.

Я стоял на самой середине между небом и землей. Отсюда было видно, что земля имеет форму шара.

Море было полосатое: полоса изумрудно-зеленая, полоса черно-синяя, полоса коричневая...

Подо мной и позади меня — горы.

Заходящее солнце освещало вершины, и они горели, а подножия были тусклые. Далекие вершины — острые, а те, что поближе,— покатые, как гигантские валуны, и по ним можно бегать. Покатые горы выглядели добрыми. К ним подходило слово «Лапландия».

...Я...

В горах совсем другое восприятие своего «я».

Я человек. Часть природы. Часть всей этой красоты. Ее совершенное выражение. И если Я имею ко всему Этому прямое отношение, значит, мне не в чем сомневаться.

Я преодолел себя, чтобы поднять свое тело высоко над землей. Я поднял себя для того, чтобы лучше увидеть вокруг и в себе.

Во мне сорок восемь правд. Правда утра и вечера. Правда трезвости и похмелья, и так далее. Но сейчас все эти частные правды полиняли. Мне казалось, я коснулся Истины, хотя и не понимал, в чем она.

Моя душа наполнилась торжественностью, и слезы заволновались во мне. Похожее состояние я испытываю, когда слышу детский хор. Я люблю детские голоса, и мне при этом бывает невыразимо жаль своей уходящей жизни. Это неодинаковые чувства: любовь и тоска высекают из меня слезы.

Сейчас я стоял и внутренне плакал, охваченный противоположными чувствами, которые я раньше в себе не соединял.

Значит, я шел в гору так долго и так трудно ради этой минуты. И нет такой платы, которая была бы для нее высока. Единственное, если бы я сорвался и сломал себе шею.

Мои альпинисты стояли возле меня, смотрели каждый по-своему и видели каждый свое.

Архитектор был на Кикиморе уже десять раз и в десятый раз видел всю эту красоту и торжественность. Он к ним привык. Он был счастлив нашим счастьем. Тем, что он нас сюда привел.

Жена архитектора стояла помолодевшая, как девушка. Даже не девушка, а подросток, в предчувствии первой и единственной любви, которой предназначались вся нежность и вся отпущенная преданность.

Вадик стоял с настороженным видом. Он еще не научился ценить красоту и не знал, что это редкость. Ему было не трудно подняться и не торжественно стоять.

А может быть, я ошибался. Может быть, высота, камни, сбежавшиеся в громадные складки, собственная малость и затерянность повергали его в ужас. И все его хрупкое существо кричало: «Не хочу!»

— На ужин опоздаем! — напомнил архитектор.

Он как бы отвечал за всех и умел думать не только о настоящем моменте, но и о том, что будет после.

Я никогда не думаю о последствиях, и это всегда мне мстит.

Спускались мы легко. Вприпрыжку. Но я даже вприпрыжку ухитрился отстать.

Мы сбежали на набережную и пошли вдоль моря. На лавочках, разложив свои формы, сидели отдыхающие. Мы шли мимо них пружинистым шагом, заряженные душевной и мышечной бодростью, и думали: «Эх, вы, индюки...»

Мы зашли в ресторан, и нам подали целый кувшин желтого молодого вина, похожего ча забродивший виноградный сок.

Очень может статься, что жизнь задумана как дорога к вершине... Дойду ли я до своей вершины или устану и вернусь, чтобы лечь на диван? А может быть, я слишком медленно плетусь и помру где-то на полпути...

А вдруг моя вершина уже была? А я не заметил и теперь иду без цели?

Автомат на почте работал круглосуточно.

Я набрал нужный код. Потом нужный номер.

Никто не подошел. Значит, Мика уехала в командировку.

«Нечестно»,— подумал я. И это было действительно нечестно по отношению к сегодняшнему дню.

Мамы тоже не оказалось дома. Возможно, Елена родила, и мама уехала знакомиться с внуком или внучкой. Елене звонить было некуда: они с мужем жили за городом без телефона и прочих удобств.

Свои координаты я никогда не оставляю, иначе буду вынужден все время ждать — ждать, что меня вызовут с работы, что приедет Мика и заявит: «Я соскучилась». Ждать писем, которых не будет. Вернее, придут две открытки за месяц, а я буду каждый день заглядывать в почтовый ящик или в глаза квартирной хозяйке. И весь мой отдых превратится в одно сплошное ожидание. А когда я жду, я уже больше ничего не могу делать.

Я нашел на столе испорченную почтовую открытку, на которой было написано «Харьков». Я зачеркнул «Харьков» сверху написал адрес Елены. Потом перевернул открытку и начал: «Здравствуйте, дорогие! Как вы живете? Я живу хорошо». Так я всегда начинаю свои письма домой. И это все, что я могу сказать.

Я напряг чело и написал о том, что долетел благополучно, хоть и опоздал на свой рейс. О ценах на фрукты и на жилье, о температуре воды и температуре воздуха. И о том, что я по ним скучаю, и это было некоторым преувеличением.

Мне необходимо знать о своих близких, что они есть и с ними все в порядке. Но когда я знаю, что с ними все в порядке, я могу не видеться по пять и по семь лет — срок, за который страна выполняет грандиозные планы. Я бросил открытку в почтовый ящик и пошел к морю.

Лунная дорожка дробилась на воде. Море дышало, как огромный организм. Тянулось к моим босым ногам.

Я вошел в воду и поплыл по лунной дорожке. Когда я вскидывал руку над водой, мне казалось, рука должна быть золотая. Но она была темная.

Буй был чуть накренен и качался в черноте моря, как земной шар в галактике. Я лег на земной шар лицом к горизонту и тоже стал качаться — один в галактике.

Мика!

Мне надоело.

Это случилось на двенадцатый день отдыха в десять часов утра. Я стоял на базаре и покупал черешню — светлую и крупную, как дикие яблочки. Купил три килограмма и ссыпал их в целлофановый мешок. На обратной дороге мне попалась дворничиха со шлангом. Из шланга била вода. Я подставил под струю свой мешок, и он тут же раздулся от воды. Мешок оказался не целым, из дна и с боков оттопырились тугие узкие струйки.

Я шел по пляжу, ел безвкусную черешню. Тугие струйки толкали меня в ногу. У меня возникло чувство какой-то разъедающей неудовлетворенности. Я слушал в себе это чувство и сплевывал косточки в кулак. Загорелые тела, пестрые купальники, синькобое небо, наглое солнце, море, бурое у берега, пальмы с шерстяными стволами и жестяными листьями — все это лезло в глаза, в нос, в уши, как синкопированная музыка, пущенная на полную мощность. Я шел по пляжу, перешагивая через тела и обходя их. Люди играли в карты. Хохотали. Я не верил, что им азартно играть и весело смеяться. Мне казалось, они притворяются.

Наконец я пробрался к нашим и угостил их черешней. Вадик метнул на меня взгляд мизантропа и отвернулся: «Сейчас скажет: «Не хочу»,— подумал я. Жена архитектора зачерпнула горсть красивых ягод и протянула сыну.

— Не хочу,— обрадованно прочревовещал Вадик.

— А почему ты не хочешь? — спросил архитектор.

— Не хочет, и все,— заступилась жена архитектора.— Поди окунись!

— Не хочу!

— Ну, хоть один разочек!

— Отстань от него,— предложил архитектор.— Не хочет — не надо.

— А зачем я его сюда привезла?

— Зачем заставлять человека делать то, чего он не хочет? А если бы тебя заставляли делать то, что ты не хочешь?

— Ты так говоришь, потому что это не твой сын.

— Ты слишком много его спрашиваешь,— сказал архитектор.

Его точка зрения полностью совпадала с моей. Но я промолчал. Я сидел на корточках и ел черешню. Потом встал и пошел.

Мои друзья решили, что мне надоело существовать на корточках, и я пошел взять еще один лежак. Сейчас возьму и вернусь. Но я поднялся и пошел потому, что во мне что-то кончилось. Как бензин в мотоцикле.

Я могу понять заключенного, который убегает из тюрьмы за полтора месяца до окончания срока. Кончается запас терпения, и человек уже не принадлежит здравому смыслу.

В десять часов я стоял на базаре.

В пятнадцать часов я входил в помещение аэропорта. В восемнадцать часов я летел над средней полосой России. Над левитановскими пейзажами, о которых так скучал архитектор.

В двадцать часов по московскому времени я стоял перед Микиной дверью и нажимал на звонок.

У Мики домашние туфли на деревянной подошве и без пятки. Она клацает ими, как японка.

Сейчас застучат деревянные торопливые шаги. Дверь распахнется, я широко шагну, она сомкнет руки на моей шее, и воздух загорится вокруг нас.

...Послышались бесшумные босые шаги.

Зашуршал замок.

Дверь распахнулась.

Мика...

Я не сделал шаг вперед. Я остался на месте. Меня что-то не пускало.

Ее глаза. Они, казалось, выключили свое обычное выражение. Глаза у нее были строгие, как у учительницы, которая выслушивает лодыря и пытается определить: где он врет.

— Я так и знала,— сказала Мика.

— Ты знала, что я приеду?

Мне стало обидно за себя, за то, что я, как дурак, летел через всю страну к этим глазам, к этой фразе.

— Проходи,— сказала Мика.— Только не топай.

Я шагнул через порог. Она осторожно прикрыла за мной дверь. Я стоял в прихожей, испытывая какое-то общее недоумение.

— Чего ты стоишь? Раздевайся.

Я снял плащ, повесил на вешалку. Поставил чемодан. Мика ждала, сопровождая глазами каждый мой жест. Было похоже, будто я монтер, пришел чинить проводку.

Мика на цыпочках пошла на кухню. Я двинулся следом. Тоже на цыпочках.

— Есть хочешь? — шепотом спросила она.

— А почему мы шепчем?

— Спят,— неопределенно ответила она.

— Кто?

— Муж.

— Чей?

— Мой.

Когда петуху отрубают голову, он еще некоторое время бегает по двору и, наверное, думает о себе, что он в прекрасной форме.

Я сел на кухонную табуретку.

— А где ты его взяла? — спросил я.

— В метро познакомились.

— Когда?

— Неделю назад. Он вошел на Краснопресненской, сел против меня и смотрит. Смотрел, смотрел, потом сел рядом. Потом я вышла и он вышел.

— И все?

— Все. А вчера подали документы.

— Но ты же его совсем не знаешь.

— Я его чувствую. Хорошие люди всегда видны.

— Ты сошла с ума. Зачем ты портишь свою жизнь?

— Хуже, чем было, не будет. Тебя кормить?

— А мужу останется?

— Всем хватит.

Она всегда любила меня кормить и любила смотреть, как я ем. И сейчас она легко задвигалась, собирая на стол тарелки и тарелочки.

— Знаешь, когда ты разбился, я села на пол и думаю: как же я теперь буду жить? А потом вдруг среди ночи проснулась и поняла: я жила ужасно...

— Что значит разбился?

— Разбился на самолете. Мне твоя соседка позвонила. Плакала, говорила, что ты предчувствовал.

— На каком самолете?

— Рейс 349. Москва — Адлер.

— У него отвалилось крыло...— Я смотрел сквозь Мику в тот далекий сон.

— Это я не знаю. Это тебе лучше знать.

Я все понял и поверил. Самолет, на который я опоздал, разбился, и, поскольку я был зарегистрирован...

Я понял и поверил, но это не произвело на меня сейчас никакого впечатления. Замужество Мики заслонило мою собственную смерть.

— Я разбился, и ты тут же вышла замуж?

— Я вышла замуж вовсе не потому, что ты разбился.

— А почему?

— Я влюбилась.

— И ты не заплакала по мне?
— Я не поверила. Я знала, что с тобой все в порядке.
— Откуда ты могла знать?
— Чувствовала. Знаешь, я недавно смотрела телевизионный фильм. Там приходит чукча к милиционеру и говорит: «В тайге прячется человек». Милиционер спрашивает: «А ты откуда знаешь?» А чукча отвечает: «Я сюствую». Так и я. Сюствую.
На Мике была незнакомая мне длинная юбка, и вся Мика была другая, чужая, не моя. И я уже не верил, что когда-то обнимал ее и был любим ею.
— Я не верю,— сказал я.
— Привыкнешь.
— Привыкну,— пообещал я.— Я тебя забуду.
— Ты слишком знаешь меня, чтобы забыть.
— Я отомщу.
— Как? — Она перестала резать сыр и заинтересованно смотрела в мое лицо.
— Я женюсь и буду счастлив.
— Не будешь.
— Откуда ты знаешь?
— Сюствую.
Мика взяла губку и протерла клеенку на столе. На ней были изображены черешни — абсолютно такие, какие я покупал утром на базаре.
— Почему ты ничего не ешь?
— Не глотается.— Я взял ее за руку.— У тебя с ним так же, как со мной?
Мы смотрели друг на друга, глаза в глаза.
— По-другому. Нет гремучего прицела воспоминаний... Четыре года...— Мика замолчала, будто листая в памяти год за годом.— По времени это столько же, сколько шла война. А где мои завоевания? Где мои награды?
— Какие могут быть награды у любви? Чувство само по себе — это и завоевание и награда.
— Ты дал мне самый грустный опыт, который может дать мужчина женщине. Опыт унижения... Ты приходил и уходил и всякий раз боялся, что будет слишком долгое прощание. Мне казалось, что, помимо любви ко мне, у тебя должно быть чувство долга, но ты считал, что ничего не должен, тогда и я тебе ничего не должна.
— Какой бы я ни был, но второго такого ты не найдешь.
Я хотел, чтобы она испугалась и усомнилась.
— А я и не хочу такого второго. Я так много страдала с тобой, что у меня даже образовался условный рефлекс. Вот я вижу тебя, и мне хочется плакать.— Ее глаза заволокло слезами.— Знаешь, бывают сломанные замки, в которых проворачивается ключ. Ты стоишь и думаешь: вот сейчас отопрешь, сейчас... А ключ все проворачивается, и ты стоишь на улице и не можешь попасть в дом. Это с ума можно сойти.
Мы замолчали.
На улице звякнул велосипед. Мика вздрогнула.
— Мне все время кажется: телефон...— Она виновато улыбнулась сквозь слезы.— Я четыре года каждый день ждала твоего звонка и даже боялась пустить воду в ванной. Боялась, что не услышу.
— А почему он спит?— спросил я.
— Кто?
— Твой муж.
— Устал.
— А чем он занимался?
— Он археолог, недавно вернулся из Якутии. Нашел позвонок мамонта в районе вечной мерзлоты.
— А зачем он ему?
— Позвонок?
— Ну да...
— Чтобы представить себе весь позвоночник.
— А зачем представлять себе весь позвоночник?
— Чтобы воспроизвести мамонта целиком.
— А зачем воспроизводить мамонта, который давно сдох?
— Для истории... Когда через тысячу лет найдут твой позвоночник, им никто не заинтересуется.
— Почему же? Я вполне типичный представитель своего времени — честный, неустроенный, инфантильный...
— Честный вор,— подсказала Мика.
— Ну, знаешь... Все мы что-то воруем и что-то безвозмездно отдаем.
— Ты ничего не отдаешь. Ты чемпион эгоизма, и в этом твоя творческая индивидуальность. Ты предпочитаешь жить удобно.
— Что значит: удобно?
— Удобная работа: и занят и свободен. Удобный сын: и есть он, и нет его. Удобная женщина: можно прийти, можно уйти.
Я смотрел на Мику. Я никогда не предполагал, что в ней зрели эти мысли.
— Ты ненавидишь меня...
— Незавершенная любовь переходит в ненависть. Это нормально.
— И ты меня ненавидишь?
— Ненависть — это очень сильное чувство. Такое же, как любовь, только со знаком минус. Я тебя не ненавижу. Я от тебя свободна. Не судьба, да и все.
— Почему не судьба?
— Я любила тебя сильнее, чем это нравится судьбе. И потом, я не вовремя явилась в твоей жизни. Надо было на десять лет раньше или на десять лет позже. Я пришла в твои тридцать семь, а надо было в двадцать семь, когда ты был свободен. Или в сорок семь, когда устанешь терять...
— Судьба — не судьба... Просто я разбился, и ты бросила меня в ту же секунду.
— Ты был уверен, что я пойду за тобой в мир иной?
— Да,— сказал я серьезно.— Я был уверен.
— Дело не в том, разбился ты или нет, просто я износила наши отношения. Как туфли. Подошва отлетела.
— Почему?
— Люди любят друг друга, чтобы зачать ребенка и взрастить его для дальнейшей жизни. Есть время цветения — весна, а есть время урожая — осень. Невозможно же цвести и в весну, и лето, и осень, и зиму. Мои цветы облетели. А ребенка ты не хотел.
— Ты могла меня не слушать.
— Как я могла не слушать, когда ты был для меня священное существо.
— Но ведь все можно поправить.
— Только актеры могут играть один спектакль по десять раз. А мы не актеры, а люди. И не играем, а живем.
Из комнаты раздался мужской голос:
— Элла!
— Кто это: Элла?
— Я! — сказала Мика.
Я вспомнил, что полное ее имя — Микаэлла. Сейчас у нее все было другое: имя, одежда, глаза.
— Я тебе верил,— сказал я.
— А я тебе.
Я встал и пошел.
Я вышел сначала в прихожую, потом на лестницу. Когда я оказался на лестнице, я понял, что не могу идти. Мне захотелось сесть тут же, на ступеньку, но ее археолог с позвонком мог выйти и увидеть меня под дверью, как собаку. Это было бы слишком щедрым свадебным подарком.
Я пошел вверх, держась за перила, и добрался до последнего этажа. Дальше был чердак.

Я сел на самую верхнюю ступеньку и застыл. Все ощущения были выключены во мне. Видимо, сработали защитные силы организма, и он самоотключился, чтобы я ничего не чувствовал.

Я не помню, сколько прошло времени, когда я услышал клацающие деревянные шаги. Мика поднималась по лестнице. Она чуть придерживала у колен свою длинную юбку, чтобы не мести ею ступеньки, и походила на представительницу девятнадцатого века, идущую на бал во дворянском собрании.

— Не сиди на камне. Встань.

Я встал.

Она взяла меня за руку и подвела к лифту.

— Нажми кнопку.

Я нажал большую круглую кнопку лифта. Она стала светящейся и красной. Сквозь решетку двери было видно, как задвигались колесики и поползли тросы.

— Как ты узнала, что я здесь? — спросил я.— Чувствуешь?

— Нет. Просто я стала смотреть в окно, ждала, когда ты выйдешь. Тебя не было. Тогда я спустилась вниз. Тебя нет. Значит, ты наверху. Методом исключения.

Лифт подошел и остановился.

— Открывай дверь.

Я повернул холодную ручку и открыл решетчатую дверь.

— Теперь иди.

— Можно, я еще посижу?

— Нет,— запретила Мика.— Иди.

— Что я теперь буду делать?

— Жить,— ответила Мика.— Подумай, ведь ты действительно мог разбиться.

Внизу кто-то постучал ногой, требуя лифт.

— Самое главное — быть живым,— сказала Мика.— Это необходимое условие. А все остальное можно варьировать.

Я вошел в лифт. Она захлопнула дверь. Стояла, ждала, когда я уеду. Все это было так беспощадно и нелепо, как будто моя голова стояла отдельно от меня и смотрела, как я уезжаю.

Наверное, когда петуху отрубают голову, то его глаза какое-то время видят, как бегает его туловище.

— Прости меня,— сказал я Мике.

— Нет. Не прощу.

Снизу опять загромыхали.

Я сомкнул внутренние дверцы и нажал кнопку. Передо мной поплыли большие белые цифры, обозначающие этажи: 5... 4... 3... 2... 1...

На дверях ресторана висела табличка: «Свободных мест нет». Желающие вкусить от сладкой жизни жались озябшей стайкой и, как зайцы, засматривали через стеклянную дверь.

Ресторан считался современным и модным. Наш инструментальный ансамбль — тоже современный и модный. И то, что мы здесь работали по вечерам, составляло честь и нам и ресторану.

Я уверенно подошел и постучал в дверь костяшками пальцев. Ожидающие посмотрели на меня с робостью и надеждой: они решили — я пришел с тем, чтобы восстановить справедливость.

Гардеробщик дядя Леша приблизился к двери — высокомерный и значительный, как сенатор. Он смотрел безо всякого интереса, как кастрированный перекормленный кот. И вдруг в его глазах зажглось внимание. Он придвинул лицо к самому стеклу, всматривался в меня, как шпион в сообщника, в ожидании пароля. Потом оглянулся по сторонам, живо отодвинул задвижку, и я просочился в вестибюль.

— Это ты, что ль? — проверил себя дядя Леша.

— Я, я,— подтвердил я.

— А сказали, что ты разбился в самолете.

— Интриги,— пояснил я.

Дядя Леша быстро-быстро закивал головой. Потом подержал голову в неподвижности и качнул ею слева направо, как бы в осуждение интриг. В стекло снова постучали костяшками пальцев. Дядя Леша надел на лицо прежнее выражение сенатора и удалился.

Я поставил чемодан за барьер, положил сверху плащ и вошел в зал.

Свободных мест действительно не было. Площадка для музыкантов пуста. Значит, наши на перерыве.

Ко мне разбежался официант Адик, красиво держа поднос у плеча. Адик остановился передо мной и стал меня рассматривать, давая мне возможность рассмотреть себя. Насмотревшись на его траченное жизнью лицо, я сказал:

— Посади меня куда-нибудь.

— К иностранцам,— определил Адик, хоть это было против правил.

Он повел меня через зал.

— А мне сказали: ты из самолета выпал.

— Я вместе с креслом выпал,— сказал я.

— И чего? — Адик остановился.

— Как видишь...

— Надо же... А я подумал: ты мне десять рублей должен. Пропали мои денежки. Хотел к твоей мамаше пойти, а потом думаю: у человека такое горе, а я со своими вонючими деньгами. Хочешь часы? Швейцарские, с хрустальным стеклом?

Адик поставил поднос на служебный столик, отогнул рукав. На его запястье хрусталем и никелем мерцали часы. Я таких никогда не видел и даже не представлял, что такие могут быть.

— Триста ре,— назначил Адик. Подумал и сбавил: — Ну, двести...

Я ждал, когда он скажет: «Ну, сто». А потом: «Ну, рубль».

— А, черт с ними,— сказал Адик.— Бери так, дарю.

Он снял часы и положил их в мой карман.

— Да ты что?— растерялся я.

— Это мура. Штамповка...

Адик отвел меня на место, а сам заскользил в глубь зала, как конькобежец в одиночном катании. Он наградил меня часами за то, что я выпал с креслом и остался. В том, что я остался, было для Адика проявление высшей справедливости, и он радовался за меня и за себя, так как эта высшая справедливость правила и судьбой его, Адика. В середине зала он обернулся и посмотрел на меня из-за подноса.

За моим столиком сидели два иностранца. Вернее, я за их столиком. Один был старый. Он, по-моему, впал в детство и походил на плешивого младенца. Глаза его были голубые и бессмысленные. Второй лет сорока, с лицом, которое может встретиться в любой прослойке и в любой национальности. На своего соседа он не был похож, из чего я сделал вывод, что это не сын и не внук, а скорее всего секретарь.

Я кивнул вместо приветствия. Секретарь деликатно улыбнулся одними зубами.

— Туристы? — спросил я.

Секретарь понял, закивал головой.

— Ве-сна.

— Что?

— Еуроп... ве-сна. Америк... ве-сна...



Подошел Адик, поставил передо мной водку и рыбное ассорти.

— Что он говорит? — спросил я у Адика.

Секретарь что-то залопотал. Адик залопотал в ответ. Он окончил иняз, знал три или четыре языка.

— Весна,— перевел мне Адик.

— А что это?

— Время года, господи... Они ездят по всему земному шару за весной. Где весна — туда они и перебираются.

— А зачем? — удивился я.

— Старику нагадали, что он осенью помрет. Теперь он бегает от осени по всему земному шару.

— Хорошо, деньги есть, можно бегать от собственной смерти.

— Что́ деньги? Молодость за деньги не купишь.

— Но уж если быть стариком, то лучше богатым стариком.

Адик отошел к другому столику. Как говорят официанты — на другую позицию. Я налил рюмку водки и опрокинул в пустоту, которая гудела во мне.

На эстраду один за другим поднялись музыканты. Я сидел за колонной, они не могли меня видеть. Но я их видел очень хорошо.

Вячик предупредил всех глазами и сильно чиркнул по струнам гитары. Жираф отсчитал четыре четверти после Вячика и обрушил на барабан свои палочки. Галя вышла к микрофону и запела — низковато и никак. Но весь зал тем не менее обрадовался ее появлению и слушал с видимым удовольствием.

Когда человек выпивает, у него несколько сдвигается восприятие, и Галя пела с точным расчетом на это сдвинутое восприятие. Ребята работали красиво, уверенно и, казалось, не зависели от зала.

На моем месте на эстраде сидел парнишка без признаков пола.

Если бы его одеть в женское платье, получилась бы барышня северного типа, средних возможностей.

Его лицо было каким-то неокончательным: болванка для лица. На его нос хорошо бы надеть нормальный нос. Вообще, хорошо было бы надеть на его лицо выражение и облик.

Он мне не нравился. И не нравилось то, как быстро заполнил Вячик освободившееся место.

Я выпил еще одну рюмку и слушал, как меня затягивает в воронку пустоты. К моей пустоте примешивалась обида, и это было лучше, чем одна пустота.

Галя запела предпоследнюю песню Вячика. Ее платье искрилось, а украшения горели, как настоящие бриллианты. Она дошептала куплет и отошла в сторону.

В этом месте была моя очередь. Я обычно перехватывал Галин последний звук и как бы продолжал голос. Я импровизировал шестнадцать тактов, а потом заканчивал вверх по трезвучию.

Я должен играть и не слышать себя. Я должен только чувствовать. Но я, как правило, играю и слышу. Слышу и оцениваю. Выверяю гармонию алгеброй, как Сальери. Я долго тяну последнюю ноту. Потом опускаю трубу и сажусь.

Сегодня на мое место встал новенький, вскинул трубу к губам и пошел в импровизацию.

Его труба была умнее его, и умнее меня, и всех, кто здесь сидел. Она знала что-то такое, чего не знает никто. Все перестали жевать и насторожились.

Мое восприятие существовало вокруг меня, как туман, а я сидел как бы в центре собственного восприятия. Мне было жаль своей жизни, своей любви, мне было так же, как в самолетном сне, когда я летел, прорезая облака.

Я профессионал. Я все понимаю в музыке, но я не понимаю, как он это делал.

Я внимательно смотрел на него. Он стоял маленький и щуплый, будто школьник-отличник на олимпиаде. Опустил трубу. Но никому в голову не пришло, что это конец. И никто не заподозрил, что трубач забыл или споткнулся. Он думал. И это тоже была музыка.

Потом он поднес трубу к губам. Вздохнул. Снова помолчал. Послушал себя. И когда не стало сил молчать, когда все напряглось внутри, он пошел широко и мощно вверх по трезвучию. Его подхватил инструментальный ансамбль. И это уже не музыка была, а нежность, всепоглощающая нежность, смешанная с восторгом и благодарностью. Как после любви.

Галя снова подошла к микрофону, запела второй куплет. После импровизации все зазвучало по-другому, с иным смыслом. Все было вроде то же, но на следующем витке.

А трубач уже сидел, как бы непричастный, на моем месте, поставив трубу на колено, приподняв брови на лбу. Ребята играли с бесстрастными лицами, как ни в чем не бывало. Люди быстро привыкают к хорошему.

Как удачно вышло, что я разбился. Удачно для мальчика, для ансамбля, для всех, кто здесь сидит и кто сюда придет в другие дни.

Я встал и пошел из зала. Шел и боялся, что наши меня заметят. В дверях я обернулся. Никто не обратил внимания. Мало ли кто входит и выходит...

Мои иностранцы смотрели мне вслед. Я помахал им рукой. Они обрадовались и замахали мне в ответ. Мы успели привыкнуть друг к другу.

Я пошел в автомат и набрал номер. Я звонил Антону, а трубку почему-то сняла Мика. Я молчал. Но она узнала.

— Ну, как ты? — заботливо спросила Мика.

— И все-таки мне грустно,— сказал я.

— Нет. Ты счастлив. Ты просто этого не понимаешь...

Я положил трубку. Мое сердце подошло к горлу, так бывает, когда попадаешь в воздушную яму. Я сосредоточился и стал цеплять пальцем диск.

— Алло! — радостно прокричал Антон.

Дети живут настоящим. У них нет прошлого, оно их не тянет, поэтому они могут летать.

— Антон,— позвал я.

— Кто это?

— Это твой папа.

— Какой папа?

— А у тебя их много?

— У меня их два.

Я опустил руку. В трубке какое-то время толкались голоса. Потом гудки.

Я разжал пальцы. Трубка продолжала висеть и раскачиваться, а вместе с ней раскачивались гудки.

Когда я вернулся домой, было темно и тихо. Мои соседи спали. Я определил глазами свою дверь и решительно двинулся к ней, стараясь, чтобы меня не заносило в сторону и не било об стены. Следующая задача состояла в том, чтобы достать ключ, вставить его в замок и открыть дверь.

Я достал ключ, вставил его в замок, но ключ не поворачивался. Я стоял и обижался, напряженно глядя на дверь. И вдруг увидел печать, а на печати пломбу, как на ценной бандероли. Я потянул за пломбу, чтобы ее сорвать, но вместе с пломбой подалась и дверь.

Комната была моя. Занавески мои. Диван мой. Но одеяло чужое. Под одеялом спал Пашка Самодеркин.

Что бы это значило? Скорее всего, Шурочка подала в жэк на расширение, и ей сказали: «Подумаем». А пока они думали, Шурочка въехала явочным порядком.

Других спальных мест в комнате не было. Значит, надо было освободить старое или соорудить новое. Будить Пашку мне было жалко. Я решил переночевать на шкурах, как дикарь, разложив их на полу.

В прошлом году, в деревне, где-то в самой середине страны, я купил у старика крестьянина шесть дубленых шкур по пять рублей за каждую. Я хотел пошить себе модный дубленый тулуп. Но шкуры эти нигде не принимали. Они были выделаны не фабрично, а кустарным способом. От них воняло козлом и хлевом в такой концентрации, что если пробыть в этом тулупе день, то к концу дня можно угореть и потерять сознание.

Носить эти шкуры нельзя. А переспать на них ночь можно, потому что они теплые и мягкие: две шкуры вниз, а две шкуры сверху, одну под голову, и еще одна — лишняя. А утром уже можно будет представиться своим соседям — к их радости и огорчению одновременно.

Шурочка посмотрит на меня и скажет: «Нахал». «Но почему? — спрошу я, оправдываясь.— Я же не виноват, что так случилось». «Так могло случиться только с тобой и больше ни с кем».

Мои шкуры лежали в чемодане. Чемодан — на шкафу. Я поднял руки и потянул на себя чемодан. Сверху лежали ракетки для бадминтона. Они поехали и упали на пол.

Пашка Самодеркин торопливо сел. На фоне ок-

на определились его голова и оттопыренные уши. Я инстинктивно присел на корточки и подогнул голову к коленям.

— Мама! — громко сказал Пашка.

Он скинул ноги с дивана и побежал из комнаты. Следом за ним вился его страх. Я заразился Пашкиным страхом, распластался на полу и влез под диван.

Диван был низкий. Под ним могла уместиться только собака, и то не крупная, типа спаниеля. Тем не менее я втиснулся между полом и днищем дивана. Лежал, свернув голову в сторону, чтобы удобнее было дышать. Фасовым положением плеч и профильным головы я напоминал себе фараона или рядового древнего грека, каким его рисуют на фресках.

Я мог бы в конце концов стать за шкаф или за портьеру, чтобы не испытывать таких явных неудобств. Я мог бы не прятаться вообще. Но я представил себе, как сейчас, держась за руки, явятся Пашка и Шурочка и увидят среди ночи представителя того света. Прежде чем понять, они испугаются и заорут дуэтом, и я окажусь автором испуга и слез.

Раздалось мягкое шуршание шагов.

— Да нет тут никого,— сказала Шурочка и зажгла свет.

Ракетки от бадминтона валялись на полу.

— Ну, что ты испугался, дурачок...

Шурочка и Пашка сели на диван, и я увидел перед собой четыре пятки. У Пашки пятки были узенькие, нежно-желтые, над щиколотками поднималась пижама. Шурочкины пятки были скрыты шерстяными носками. В ней помещалась какая-то простуда, и она все время ходила в шерстяных носках.

— Тебе приснилось,— сказала Шурочка.

— Нет. Я видел. Вот правда. Пролетела какая-то птица... У меня даже ветер над лицом...

Пяточки взметнулись и пропали. Носки тоже исчезли. Значит, Шурочка уложила Пашку и легла с ним рядом.

— Ты не уйдешь? — спросил Пашка.

— Не уйду.

— Только не выключай свет. Ладно?

— Ладно.

— И сама не уходи.

— И сама не уйду. А у тебя волосы пахнут знаешь чем?

— Чем?

— Они у тебя пахнут нагретыми перышками. А сам ты пахнешь ландышем.

— А я стишок сочинил,— сказал Пашка.— «Грека сунул руку в реку, ну а раку хоть бы хны. Грека прыгнул прямо в реку, рака цапнул за штаны».

— Кто кого цапнул? — не поняла Шурочка.

— Рак грека,— объяснил Пашка.— Неужели не понятно?

Они ворковали, журчали, проговаривали какую-то муру, которая обоим казалась значительной. Комната плавала и парила в нежности. Эта нежность давила мне на грудь. Я почувствовал себя сиротливо, захотелось к моей маме.

Когда, будучи взрослым, я иногда жил с ней под одной крышей, когда она перебиралась ко мне со своим внутренним миром, у меня было такое ощущение, что в моей комнате — лошадь с телегой, груженной дровами. Она занимает всю площадь, и, чтобы как-то передвигаться, ее надо обходить. Это неловко, а главное — непонятно, зачем.

Сейчас мне захотелось сию же секунду вылезти из-под пыльного дивана, выйти из дома. Доехать до Савеловского вокзала, сесть на электричку и сойти на нужной станции. Постучать в знакомую дверь и уткнуться в родное тепло. Мама нальет мне в тарелку горячий фасолевый суп, сядет напротив и начнет изводить меня: и не тот я, и не там я, и не с теми... Но что бы она ни говорила, звук ее голоса будет обозначать только одно: меня любят...

Стало тихо. Пашка засыпал, умиротворенный. Я тоже закрыл глаза, и меня будто за волосы потащило в сон. Шурочка встала. Я испугался, что сейчас она увидит два башмака, надетых на чьи-то ноги. Но Шурочка ничего не заметила. Выключила свет и тихо ушла.

Я полежал еще минут десять, преодолевая сон. Потом стал двигаться по пять-шесть сантиметров за одно движение. Я осторожно вытеснил себя из-под дивана. Потом осторожно поднял себя на ноги. Постоял и пошел к двери. До двери было шесть шагов. Я сделал их за восемнадцать минут, по три минуты на шаг. Я шел, как по минному полю, осторожно выверяя, куда поставить ногу, и распределяя тяжесть так, чтобы не скрипел пол. Когда я вышел на лестничную клетку, я почувствовал такое же облегчение, какое, наверное, испытывает космонавт, когда после перегрузок попадает в состояние невесомости.

— Ты чего приехал? — спросила мама.

Она стояла в платье, сшитом из легкого узбекского шелка, хотя к узбекам не имела никакого отношения. Фасон своих платьев она не меняла в течение всей жизни. Она всегда шила прямые платья с английским воротничком и на пуговицах. И узбекское платье тоже было с английским воротничком и тоже на пуговицах. Я понял: она ничего не знает о рейсе 349 Москва — Адлер.

— Что-нибудь случилось? — испугалась мама.

— Случилось,— сказал я.— Соскучился.

— Этот Петр такой противный,— зашептала мама, оглядываясь на дверь, ведущую в комнату.— У него такая рожа, будто ему всунули за шиворот кактус.

В прихожую вошла Елена. Мама тотчас замолчала. Елена была бледная и вымороченная. Никаких следов счастья не читалось. В глубине дома орал ребенок.

— Мальчик? — спросил я.

— Девочка,— ответила Елена.— Светка.

Пока я до них добирался, я протрезвел и отупел, и, честно сказать, мне было безразлично: мальчик или девочка.

— Поздравляю.— Я обнял сестру.

Когда-то в детстве она любила меня как бешеная. Теперь она так же любила своего Петра. Она умела любить только кого-то одного. Главное для нее — вкладывать свою преданность. Чтобы был объект, куда можно было вкладывать.

Ребенок продолжал орать с той же громкостью и в тех же интонациях, будто в него, как в счетную машину, была вложена заданная программа.

— Иди покорми! — приказала мама.

— Не пойду! — упрямо отказалась сестра.

— Представляешь, ребенок орет с десяти часов вечера, а они не хотят его кормить. У него же легкие разорвутся.

— Не разорвутся,— сказала Елена.— Детям полезно орать.

Мама с оскорбленным видом пошла на кухню, а я двинулся в комнату знакомиться с племянницей.

— Понимаешь, она перепутала день с ночью,— объяснила Елена.— Днем спит, а ночью есть про-

сит. Если я буду ее кормить по ночам, рефлекс закрепится, и тогда все! Конец жизни! Я должна буду подстраиваться под ее режим.

Мы подошли к коляске. Племянница родилась недавно. Ей еще не кулили кровать, и она временно жила в коляске. Личико у нее было темное от напряжения и двигалось, как резиновое.

— А сколько она будет орать? — спросил я.

— Пока не поймет, что по-другому не будет.

Из смежной комнаты появился Петр. Он был одет. Должно быть, не ложился. Весь дом находился лод террором нового человека, который хотел переиначить сутки по собственному усмотрению.

Выражение лица у Петра было немножко напряженное и высокомерное. Казалось, он действительно носил лод рубашкой кактус и постоянно прислушивался к неприятным ощущениям.

Петр не был ни талантлив, ни полуталантлив. Это был человек долга, и он всегда исполнял свой долг. Мне с ним становилось несколько скучно. А ему было, видимо, скучно со мной.

— Ты загорел,— заметил Петр, чтобы как-то проявить ко мне свое внимание.

— Я был на юге.

Петр опустил глаза чуть вниз и чуть в сторону, и ло его лицу я понял: с каким удовольствием уехал бы он на юг от крика, от тещи и от жены. Елена коротко глянула на Петра, и я увидел: она зто поняла. Она любила его и слышала все, что в нем происходит.

Петр с испугом посмотрел на Елену. Он понял, что она поняла, и испугался, будто его поймали за руку в чужом кармане.

— Может, действительно покормишь? — спросил Петр, как бы выдергивая руку из чужого кармана и пряча ее за спину.

— Нет,— жестко ответила Елена, и слезы навернулись у нее на глаза.

Я решил взять племянницу на руки и покачать.

— Не трогай! — Елена предупредила движение моей души и протянутых рук.— Ты добренький, приедешь и уедешь. А она мне на голову сядет.

Я смотрел в коляску на маленького упрямого человечка, запеленатого, как рыбка.

Если бы у нас с Микой был ребенок, он оттянул бы Мику на себя и освободил ее от меня. Мы были бы вместе и врозь — идеальный вариант. И, наверное, права была она, а не я.

— А я чуть на самолете не разбился,— сказал я.

Я ожидал, что после моего сообщения все заломят руки и зарыдают. Причем зарыдают дважды: один раз от ужаса, что я мог погибнуть, а другой раз от радости, что я остался цел. Но Елена молчала, углубленная в себя. Будто не слышала.

— Я чуть не разбился,— повторил я.

— Но ты же стоишь...— отозвался Петр.

— Я не говорю, что я разбился. Я говорю: «Чуть не разбился».

— Мы ходим по тротуару, а машины — в метре от нас. Значит, мы тоже чуть не попадаем под машину,—сказала Елена.

Она отвечала мне, а продолжала молча доругиваться с Петром.

Я пошел к маме на кухню. На столе стоял не фасолевый суп, а тарелка с холодцом. Холодец был прозрачный, с островками желтка. Я хотел сесть на табуретку, но мама выдернула ее из-под меня.

— Не видишь, пеленки? А ты с грязными штанами. Неизвестно, где сидел...

Я пересел на другую табуретку.

Мать всегда любила меня больше, чем Елену, потому что я был похож на отца. А сейчас родилась Светка и полностью вытеснила меня из ее жизни. Я большой. Не лутаю день с ночью. Не требую ежесекундного лрисутствия. Телерь маме достаточно знать, что со мной все в лорядке — и она может обходиться без меня годами и десятилетиями. Я сам ее к зтому лриучил.

И вдруг ни с того ни с сего, а скорее от нервного лереутомления ламять явила мне двух лошадей на крутом берегу лруда. Вечерело. Они стояли с опущенными шеями и лолностью отражались в зеркале лруда. Мы с Микой остановились на другом берегу. Она лоложила свою голову мне на ллечо. Мы смотрели на лошадей. А лошади на нас. Мы стояли ло разные стороны пруда и смотрели друг на друга.

Я встал и лодошел к раковине, чтобы набрать воды. Мама выхватила у меня кружку. На кружке был нарисован заяц.

— Это детская. Я ее ошларила.

Светка вдруг замолчала. Может, устала. А может, действительно поняла, что иначе не будет. День всегда будет днем, а ночь ночью.

Елена, осторожно стулая, вошла в кухню. Мы сидели и налряженно ждали, что Светка сейчас снова заорет и будет казнить своей бесломощностью.

— Этот Петр ленивый, как черт,— сказала мне мама.— Целыми вечерами сидит и газету читает.

— Но ведь все мужчины такие! — заступилась Елена.— Что ты к нему лристаешь?

Мама сидела и копила обиду. Она приехала в дом Елены, чтобы тратить на нее свою жизнь, а та не ценила. И еще я видел: мама ревновала Елену и в самой глубине души хотела отвадить ее от мужа. И вместе с тем она хотела, чтобы Елена была счастлива.

— Он такой жадный,— сказала мне мама.— Дает сто пятьдесят рублей в месяц, и все. Как хочешь, так и крутись.

— А где он тебе больше возьмет? Что он, воровать пойдет?

— Он хочет, чтобы я вкладывала свою пенсию.

— Да ничего он не хочет.

— У него рожа, будто он ее отлежал,— добавила мама, исчерпав все аргументы.

— Вот видишь! — сестра повернула ко мне расстроенное лицо.

— Я пойду!

Я торолился уйти, пока Светка молчала. Мне было бы совестно уходить из дома, где ллачет ребенок.

— Как зто: лойду...— удивилась мама.— А зачем же ты лриехал?

— Соскучился,— повторил я.— Дай мне ключи от твоей комнаты.

— Зачем?

— Хочу взять «Справочник машиностроителя».

— А зачем тебе слравочник?

— Как зачем? Я же все-таки инженер.

— Ты хочешь уйти из ансамбля?

Появился Петр. Кухня лревратилась в злектрическое лоле с разнозаряженными частицами, которые сталкиваются.

Когда я уходил, мама сунула мне в карман апельсин. Ей неудобно было дать мне алельсин открыто, потому что она жила на средства Петра и не вкладывала свою ленсию.

Апельсин оттопыривал карман, и я чувствовал себя так, будто я его украл.

Я попрощался. Елена накинула шаль и вышла меня проводить.



Когда мы были маленькие и вместе ходили в школу, Елена носила мой портфель, потому что я рос слабым. Мама делала нам разные бутерброды: мне с колбасой или сыром, а Елене просто посыпала сахарным песком и поливала сверху водичкой, чтобы песок не рассыпался. Однажды во время большой перемены Елена обнаружила у себя бутерброд с яичницей. Она догадалась, что мама перепутала, и не съела его, а отнесла мне на другой этаж.

— Простудишься,— сказал я и поцеловал сестру в щеку.

— Понимаешь... Она все время недовольна. Петра это раздражает, ему не хочется быть дома. Я вижу, он уже не делает разницы между нею и мной. Ему уже все равно, что́ она, что я...

— А ты не обращай внимания,— посоветовал я.

— Я не могу не обращать внимания. Я все время зажигаюсь об нее, как спичка о коробок. Я устала...

Солнце выступило под соснами. Оно было нежно-пламенное, молодое, будто только что проснулось.

— А я никому не нужен,— сказал я Елене.

— Понимаешь... она все время талдычит: он жадный, он ленивый... Пусть даже она права, но скажи — зачем мне это знать?

— Я никому не нужен. Никому.

— Но ведь и тебе никто не нужен.

Солнце оторвалось от сосен, медленно плыло, чтобы в срок поспеть на середину неба.

— Ну, я пойду...

— Приезжай,— попросила Елена.

Она была покрыта шалью, как печалью, и уходила с печалью на плечах.

Я пошел по тропинке. Зелень была яркая и юная.

Я поднялся на дощатый перрон и стал ждать электричку. Неподалеку горели на солнце маковки церкви. Говорят, здесь жил какой-то патриарх.

«Интересно,— подумал я,— заснула ли Светка или только отдохнула и принялась за старое с новыми силами? А Елена стоит над коляской с каменным лицом и не хочет понять свою дочь. А над Еленой — ее мать, которая, в свою очередь, не хочет понять свою дочь». Что́ требовать от посторонних, когда даже самые близкие люди не умеют почувствовать друг друга.

Подошла электричка. Я зашел в вагон и сел на свободное место, спиной по ходу поезда. Вагон был почти полон. Люди ехали на работу.

Напротив меня сидела десятилетняя девочка с мамой. Девочка смотрела в окно, и в ее светлых глазах отражались деревья, дома, небо. Глаза были пестрые и разные, в зависимости от того, что было за окном. Женщина тоже смотрела за окно, но не видела ничего. В ней спала душа.

Я снова вспомнил Светку и подумал: дети плачут до определенного возраста, а потом начинают задавать вопросы. Далее они перестают задавать вопросы вслух и задают их только себе. И плачут тоже про себя.

Если сейчас, например, поставить в вагон аппарат, который улавливает и усиливает звук,— таким аппаратом записывают разговор рыб,— то выяснится, что вагон набит плачем и вопросами. Люди плачут и спрашивают с сомкнутыми губами.

Я сошел в Москве и пересел в метро. Я перемещал свое тело с электрички в метро, с метро на автобус. И все ехал и ехал, как грека через реку.

Автобус остановился. Шофер выпрыгнул из кабины и ушел. Я тоже вылез, огляделся и увидел здание аэропорта.

Зачем я сюда приехал? Может, я хотел успеть на свой рейс и боялся опоздать...

Я вошел в помещение аэропорта. Поднялся на второй этаж. Сел в кресло. Кроме меня, в зале ожидания был еще один человек, с усами и в такой большой кепке, что она вполне могла бы послужить посадочной площадкой для вертолета.

У подножия Кикиморы выстроилась недлинная шеренга. Здесь все мои родные по крови и близкие по духу. Я иду вдоль шеренги и вручаю каждому длинную палку, типа ручки от швабры. К палке прибита гвоздем пустая консервная банка, в банку положен чулок, смоченный в бензине. Я поджигаю чулок, образуется буйный факел.

Я вручаю каждому по факелу, и они молчаливой цепочкой поднимаются на Кикимору.

Я отхожу в сторону и смотрю, как они медленно идут мимо меня.

Вот мама.

— Мама,— кричу я,— живи всегда!

— Ладно,— соглашается мама.

Вот Мика.

— Мы скоро постареем, и все уладится само собой. Ты потерпи меня,— прошу я.

— А ты меня,— говорит Мика.

Вот мой ансамбль с Галей во главе.

— Идем с нами! — кричат они.

— Зачем я вам нужен?

— Мы не можем без тебя жить!

Вот дети: Антон, Вадик, Пашка Самодеркин и еще какой-то плохо одетый знакомый мальчик.

— Смотрите под ноги! — кричу я.

Но они идут, эгоистичные, как все дети, и смотрят вверх, на огонь.

Вот иностранцы.

— Дай мне руку,— просит старик.— Мне страшно.

Я встал в цепочку и протянул ему руку.

А с другой стороны знакомый, плохо одетый мальчик протянул руку мне. Я вглядываюсь в него и узнаю себя маленького. Он тащит меня вверх, и я иду за своим собственным детством.

— А я вас узнала.

Я поднял голову. Надо мной стояла царевна-лягушка.

На ней была сиреневая атласная кофта и серая юбка. Она только шла на работу и еще не успела надеть рабочий халат.

— Я сначала вас не узнала, а потом вспомнила. Но вы уже убежали...

Она была еще красивее, чем я думал, но понравилась мне меньше, чем в первый раз. Я от нее отвык.

— Вы что-то путаете...— заподозрил я.

— Вы Климов? — спросила она, решительно глядя мне в лицо.

— Климов. А откуда вы знаете? — искренне удивился я.

— Так вы же трубач! Из ансамбля. Я видела вас в ресторане. У меня и пластинка дома есть...

— Вам нравится?

— Ге-ни-аль-но! — Она потрясла стиснутыми кулачками, потому что восхищение не умещалось в ней.— Гениально,— повторила она безапелляционно, как бы отстаивая бесспорную истину.

Мне даже захотелось ей поверить.

— У тебя есть кто-нибудь? — спросил я.

— Сейчас нет.

— Хочешь, я буду у тебя?

Она вдруг притихла, стала серьезной. Смотрела на меня с недоверием и одновременно с надеждой. Я был новый, следующий человек в ее жизни, а новые люди — это новые надежды.

Я встал, положил руки на ее плечи. Но ладоням скользко было на атласе. Я опустил руки по швам. Смотрел в ее приподнятое робкое лицо — тоже с недоверием и надеждой.

Кто она? Лягушка? Царевна?

А ведь у нее, наверное, имя есть. Я спросил:

— Как тебя зовут?

— А тебя?

●



ДНЕВНИК КРИТИКА

Л. ЛЕВИН

МОИ ДРУЗЬЯ: МОЛОДЫЕ И УСПЕВШИЕ ПОВЗРОСЛЕТЬ

Начало Отечественной войны застало меня в Ленинграде, где я тогда жил. В первых числах июля я оказался на курсах младших лейтенантов, потом в минометном батальоне на Невской Дубровке и, наконец, в редакции армейской газеты.

Мне было почти тридцать. Это не так уж мало. Но, откровенно говоря, до войны я все-таки чувствовал себя еще молодым. Может быть, это объяснялось тем, что все друзья были старше меня: Е. Шварц — на пятнадцать лет, Е. Добин — на десять, И. Гринберг и А. Штейн—на пять, В. Беляев— на четыре года, Л. Малюгин —на два. Даже Ольга Берггольц и Юрий Герман были старше. Только на год, но все-таки старше.

Впервые я полностью ощутил свой возраст, оказавшись в армии. Да и как могло быть иначе? Людям, которые учили меня на курсах, командовали мной в батальоне, было, как правило, не больше двадцати пяти. Одним из самых боевых и опытных журналистов армейской газеты «Ленинский путь», куда я попал с передовой, был двадцатидвухлетний Д. Хренков.

Как и каждый литератор, ставший участником Отечественной войны, я не мог не думать о новых писательских именах, которые она неизбежно должна выдвинуть.

Нельзя сказать, что армейская газета оставляла ее рядовому сотруднику особенно много времени для размышлений о литературе. Но вскоре нашу редакцию покинули драматург Дм. Щеглов и поэт Вс. Рождественский. Я был назначен писателем армейской газеты (в ее штатном расписании имелась, как известно, такая должность; именно с тех пор я считаю, что критик может называться писателем наравне с поэтом, прозаиком и драматургом...).

Одной из моих непременных обязанностей стала переписка с армейскими литераторами. Прозаических произведений никто в газету не присылал. Стихи же приходили почти ежедневно. Отвечать их авторам — по понятным причинам — следовало без задержек.

Некоторые из приходивших в редакцию стихов печатались на страницах нашей газеты. Имена их авторов порой становились известны в нашем армейском масштабе. Однако возлагать на них особые надежды не приходилось.

Но вот однажды — это было на Волховском фронте ранней весной 1943 года — ко мне в затопленную водой землянку неподалеку от приладожской деревни Дусьево пришел лейтенант в танкистском шлеме.

Входя в землянку, лейтенант нагнулся, и я увидел только широкие скулы и выбившийся из-под шлема мальчишеский белокурый чуб.

— Мне бы капитана Левина,— тихим, совсем не лейтенантским голосом, скорей даже робко сказал лейтенант.

— Я вас слушаю.

— Меня направил к вам подполковник Гричук.— Это был редактор нашей газеты.— Тут у меня написано кое-что.— Лейтенант уже совсем застенчиво протянул мне видавшую виды фронтовую тетрадку.

Я заглянул в нее, перевернул несколько страниц и сразу понял, что передо мной поэт.

Для того, чтобы понять это, не требовалось решительно ничего, кроме элементарного умения читать и сколько-нибудь разбираться в смысле прочитанного.

Одно за другим я читал стихотворения — «В землянке»: «Сладок отдых нам в тесной землянке с непривычною тишиной...», «У костра»: «В перелеске давно рассвело, мы костер разложили с утра...», «Карбусель»: «Мы ребят хоронили в вечерний час. В небе мартовском звезды зажглись...». (Все эти стихи впоследствии были включены в книгу «Третья скорость», с которой их автор вошел в советскую поэзию.)

На фронтовой тетрадке значились имя, фамилия и воинское звание ее владельца — гвардии лейтенант Сергей Орлов.

— Вы когда-нибудь печатались? — спросил я.

— Почти нет. Мальчишкой послал восемь строк на детский конкурс. Получил премию. Корней Чуковский полностью процитировал мой стишок в «Правде».

Я попросил прочитать этот стишок, и вот что услышал:

В жару растенья никнут,
Бегут от солнца в тень,
Одна лишь чушка-тыква
На солнце целый день.

Лежит рядочком с брюквой,
И, кажется, вот-вот
От счастья громко хрюкнет
И хвостиком махнет.

(Это едва ли не первое свое стихотворение С. Орлов включил в двухтомное «Избранное», вышедшее к его пятидесятилетию в 1971 году.)

Уходя, лейтенант доверчиво согласился оставить мне на какое-то время свою заветную тетрадку — я хотел, не откладывая дело в долгий ящик, отобрать хотя бы несколько стихотворений для нашей газеты.

Стихи вскоре были напечатаны. Ненадолго — вероятно, дней на десять — Орлова прикомандировали к редакции. Но уже в начале 1944 года всякая связь с ним прервалась: в боях под Новгородом он был тяжело ранен, едва не погиб. О дальнейшей армейской службе не могло быть и речи.

Снова встретились мы с Орловым уже после войны — осенью 1946 года в Ленинграде.

Через четверть века — к тому времени оба мы стали москвичами — я поздравил Сергея Сергеевича Орлова с пятидесятилетием. К ужасу адресата, телеграмма была в стихах: «Когда я был моложе почти на тридцать лет, я и тогда Сереже сказал, что он поэт...»

За четверть века и позже мы встречались много раз, но навсегда, на всю жизнь, до гробовой доски, запомнилась именно та первая встреча в полузатопленной фронтовой землянке.

Это была встреча не только с талантливым поэтом, но и с новым поколением, вступившим в жизнь и властно вступавшим в литературу. Оно было моложе моего на десять лет— срок немалый! Но нас связывала военная судьба. Теперь представителей обоих наших поколений одинаково именуют ветеранами.

Послевоенные годы стремительно сменяли друг друга. Мои сверстники, появившиеся на свет в десятых годах, давно уже стали представителями так называемого старшего поколения. Сверстников Орлова, родившихся в двадцатых годах, еще не называли старейшими, но и не числили в молодых.

В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов на горизонте литературы стали появляться и громко заявлять о себе люди, родившиеся в тридцатых годах. Они слишком поздно родились, чтобы участвовать в Отечественной войне, но, конечно, хорошо знали, что это такое. Война определила их детские судьбы, маленьких москвичей надолго сделала уральцами, маленьких ленинградцев — сибиряками.

В начале пятидесятых годов я познакомился с московской профессорской семьей, корнями уходящей в Сибирь, в которой рос юноша, казавшийся значительно старше своих лет и жадно интересовавшийся литературой. В шестнадцать он чувствовал себя настолько взрослым, что ему скучно было называться школьником. Мало знавшим его людям он иногда представлялся как студент. Через шесть лет, уже студентом, он подарил мне номер журнала «Юность», где был напечатан его первый рассказ — «Станция первой любви». Это был Владимир Амлинский.

У С. Орлова есть стихотворение «Невская Дубровка». Мне оно особенно близко, потому что и я побывал на этом щедро политом кровью речном берегу сорок первого года. Через много лет после войны поэт бродит с товарищем по Невской Дубровке и мысленно обращается к одному из своих спутников, которому сейчас «лет двадцать, не более. столько, сколько нам в армии было когда-то». Поэту кажется, что «наши слезы и песни ему непонятны»; «Что ему это поле — как нам Куликово, не боле!..»

Я уже говорил, что знакомство с Орловым было для меня встречей с тем писательским поколением, которому суждено было вступить в литературу сразу после войны. Это было новое поколение, но его связывала с моим общая военная судьба.

Знакомясь с Владимиром Амлинским, я видел перед собой поистине «племя младое, незнакомое». В самом деле: что ему «наши слезы и песни»?

С тем большим и с тем более ревнивым интересом я наблюдал за Амлинским, а несколько позже и за другими писателями его поколения, с которыми так или иначе сталкивался как литератор или редактор,— за Владимиром Орловым, Игорем Ждановым.

После «Станции первой любви»— рассказа, полного поэтической прелести и юношески-свежего лиризма,— Амлинский написал «Аптекаршу», «Музыку на вокзале», а затем, поработав на целине,— большой цикл рассказов, первоначально озаглавленный «Степные звезды»: «Ночной сеанс», «Мансур — бунтующая целина», «Мы еще вернемся за подснежниками», «Одна из ночей директора», «Полтора часа дороги».

Так «голосовым экстрактом» молодого писателя властно заявляла о себе современная ему кипучая жизнь. Писатель знал ее не понаслышке и уверенно представлял в литературе своих сверстников — молодых людей пятидесятых и шестидесятых годов.

Первая повесть Амлинского, «Тучи над городом встали», появилась в 1964 году, когда писателю шло к тридцати и его уже переставали называть молодым. Прочитав ее, я окончательно убедился в том, что знал и раньше: горькие слова, обращенные С. Орловым к его молодому спутнику на Невской Дубровке, никогда не могли быть обращены к Амлинскому. Ему, как и всем думающим и чувствующим людям его поколения, конечно же, не могут не быть понятны «наши слезы и песни». Но в то же время ему ведомо и другое: послевоенная мирная жизнь знает свои слезы и свои песни. В ней возникают порой такие человеческие трагедии, перед которыми способны померкнуть самые драматические эпизоды нашей военной истории. Доказательство тому — повесть Амлинского «Жизнь Эрнста Шаталова», известная миллионам молодых людей нашей страны. Полон неподдельного драматизма и правды и роман «Возвращение брата», где изображена трагическая судьба человека, ставшего жертвой темных сил, которые еще недавно владели им самим и в неравный бой с которыми он имел мужество вступить.

Как-то Амлинский пригласил меня на просмотр одного из своих документальных фильмов. Фильм был посвящен Севастополю, его боевой и трудовой славе. Казалось бы, все в нем было так же, как и во многих других фильмах на подобные темы. Но в то же время что-то и отличало его от них. Что же именно? Я долго думал над этим. Видимо, дело было в некоей особой интонации, присущей дикторскому тексту. В чем же ее своеобразие? Может быть, в способности писателя поэтически воспринимать современность, открывать поэзию в самых обычных проявлениях прошлого и настоящего?

В начале шестидесятых годов я, как редактор, работал с Владимиром Орловым и Игорем Ждановым— писателями, принадлежащими к тому же поколению, что и Амлинский. Для «Юности» я редактировал роман В. Орлова «Соленый арбуз» (а во второй половине шестидесятых годов и следующий его роман — «После дождика в четверг»), для «Советского писателя» — повесть И. Жданова «Взморье». Теперь эти мои друзья заметно повзрослели, но тогда они были совсем молоды.

В отличие от Амлинского, тяготеющего к сжатой, лаконичной, полной мягкого лиризма форме, Орлов склонен к неторопливому эпическому повествованию,

к широкому развертыванию действия, к большой повествовательной форме. Что касается Жданова, успешно работающего также и в поэзии, то его прозу я, пожалуй, назвал бы новеллистической. Повести Жданова «Взморье» и «Ночь караула», в сущности, представляют собой цепь коротких сюжетов, порой лукавых и забавных, порой проникнутых тонким лиризмом, порой весьма романтических.

Амлинский, Жданов, Орлов — почти ровесники, люди одного поколения, но они не похожи друг на друга, кажется, ни в чем, кроме объединяющего их и сблизившего меня с ними уважения к нашему военному прошлому. Отец Жданова погиб на войне, Амлинскому и Орлову хорошо памятны долгие годы эвакуации.

«Что связывало меня с прошлым? — спрашивает герой повести Жданова «Взморье», и в этом вопросе, конечно же, слышится голос самого писателя.— Фотография человека с напряженным суровым взглядом ярких глаз, в портупее и пилотке — единственный уцелевший портрет моего погибшего отца? Больше на память о нем не осталось ничего: все сожгла бабушка, когда немцы со дня на день могли занять нашу деревню».

Вернувшись с родителями из эвакуации в подмосковную Яхрому, семилетний Орлов на каждом шагу натыкался на следы оккупантов, которые побывали и здесь. Главные герои романа Орлова «После дождика в четверг» — парни и девушки, строящие дорогу в далеких Саянах. Детство почти каждого из них так или иначе опалено войной.

В 1975 году вышел в свет новый роман В. Орлова, «Происшествие в Никольском» — бесспорное, на мой взгляд, свидетельство зрелости писателя. Мне не случилось его редактировать, но если бы случилось, у нас, конечно, уже не было бы тех бурных споров, в которые мы некогда вступали. Теперь мне не пришлось бы убеждать моего молодого друга, чтобы он не упорствовал в явно наивных причудах незрелого юношеского пера, как это было почти пятнадцать лет назад во время работы над романом «Соленый арбуз», или почти десять лет назад во время работы над романом «После дождика в четверг»...

«Происшествие в Никольском» написано строгим и точным пером зрелого писателя, тонкого психолога, чувствующего и понимающего диалектику человеческой души. Трагическое происшествие, случившееся с главной героиней романа Верой Навашиной, позволило писателю повести острый и нелицеприятный разговор о некоторых проблемах духовной жизни нашей молодежи. Роман Орлова — своего рода роман-раздумье, роман-предупреждение, роман-сигнал.

Вера Навашина дружит с Ниной Власовой, хотя в начале романа и есть сцена неожиданной стычки между ними. Судя по всему, Нина звезд с неба не хватает. Во всяком случае, какие бы то ни было возвышенные чувства ей, видимо, совершенно чужды. Но вдруг эта недалекая и пустенькая на первый взгляд Нина отправляется пешком за сорок километров в Серпухов. Спрашивается: зачем? А вот зачем: в июле 1942 года мать Нины получила известие, что ее муж ненадолго оказался в Серпухове в одном из бывших общежитий. Поезда в тот день не ходили, и мать пошла за сорок километров пешком. Теперь, много лет спустя, ее дочь вдруг почувствовала потребность повторить давний маршрут матери, дойти до Серпухова именно пешком и положить цветы на подоконник того дома, где в июле сорок второго ночевал ее отец.

Когда Нина шла в Серпухов, временами ей начинало казаться, что на дворе сорок второй год. «А когда в тишине сумерек она нашла в Серпухове знакомое ей кирпичное здание и положила цветы в распахнутое окно, возле которого сфотографировали ее отца, она и впрямь поверила, что сейчас война, а она пришла сюда к близкому человеку, чтобы взглянуть на него в последний раз. Нина, разбитая дорогой, голодная, долго стояла, прислонившись к столбу забора, и все думала об отце с матерью, о том, как они жили, и смогла бы она в пору их молодости быть не хуже их. Ей было тревожно и печально. Но при этом она испытывала и некое высокое чувство, которому она вряд ли бы нашла название. Может, это было чувство равенства с матерью и отцом...»

Вот вам и Нина! А мы-то считали, что высокие чувства ей совершенно чужды. Писатель преподал нам убедительный урок.

То высокое чувство, которому Нина Власова вряд ли нашла бы название и которое Орлов назвал «чувством равенства с матерью и отцом», жаждет испытать семнадцатилетний Алеша Божедонов, герой повести «Пятый угол». Ее написал молодой писатель Сергей Юрьенен.

Осенью 1975 года в подмосковном поселке Софрино происходило очередное совещание молодых писателей-москвичей. Вместе с В. Амлинским, А. Борисным, Ю. Нагибиным и Г. Семеновым я был в числе руководителей одного из творческих семинаров. Среди участников нашего семинара Сергей Юрьенен выделялся сдержанностью и немногословием. Его выступления были, что называется, короче воробьиного носа. Но когда дело дошло до его рассказов — тоже коротких и, если так можно выразиться, упругих,— все мы убедились, что молодому писателю есть что сказать. Мне запомнились его отлично написанные, психологически точные рассказы «Мертвый час», «Нерабочий день», «Опыт самозабвения», «Шар», «Кормилец».

Позже я прочитал напечатанную в «Студенческом меридиане» повесть Юрьенена «Пятый угол». Теперь она вошла в его книгу «По пути к дому», недавно выпущенную «Советским писателем».

Юрьенена уже представляли читателям С. Баруздин и Г. Гулиа. Он принадлежит к поколению, родившемуся не в двадцатых и не в тридцатых, а уже в сороковых годах. Его первая книга знакомит нас с молодым художником, знающим силу слова и умеющим владеть ею. Повесть «Пятый угол» посвящена, в сущности, тому, о чем я пишу в этих своих заметках — преемственности поколений. Детство ее героя — вполне современного юноши — прошло у знаменитых ленинградских Пяти Углов. Теперь он окончил школу и готовится вступить в жизнь. На нем «уже взрослое пальто под названием реглан и жесткая шляпа с непоправимо загнутыми полями». В Ленинград он приезжает из провинции как бы на свидание с отцом, погибшим на фронте. Это свидание необходимо ему, чтобы вступить в жизнь.

Про своего деда, которого уже давно нет в живых, Алеша вспоминает: «Это он, питаясь столярным клеем, отстоял наш Пятый Угол в блокаду, сбрасывая с крыш зажигательные бомбы. И, говорят, знаком был с Ольгой Берггольц. Такой он был человек».

Читая эту краткую, но выразительную характеристику деда, мы, кажется, понимаем, какой человек его внук...

В недавно вышедшем и вызвавшем уже немало откликов четвертом выпуске альманаха «Мы — молодые» Сергей Юрьенен представлен рассказом «Кормилец», удостоенным, кстати сказать, премии Всесоюзного конкурса на лучшее произведение о студенческой молодежи. В том же альманахе напечатан рассказ Анатолия Курчаткина «На шестом этаже крупнопанельного дома». Курчаткин также был

участником нашего софринского семинара. Руководители семинара коллективно рекомендовали Сергея Юрьенена и Анатолия Курчаткина в члены Союза писателей.

Один из откликов на альманах «Мы — молодые» был напечатан в «Литературной России». В нем говорилось: «Психологический реализм доминирует и в творческой манере А. Курчаткина и С. Юрьенена».

Конечно, в короткой рецензии невозможно охарактеризовать каждого из почти пятидесяти участников альманаха. Но все-таки следовало бы заметить, что по своей творческой манере Курчаткин и Юрьенен — в жизни, насколько я знаю, большие друзья — явственно отличаются друг от друга.

Да, оба они стремятся к тому, чтобы реалистически точно и зримо изображать человеческую психологию. (В этом смысле едва ли не все писатели являются психологическими реалистами.) Но, стремясь к единой цели, Курчаткин и Юрьенен идут к ней различными путями.

Обратите внимание на фразу Юрьенена. Она короткая, нервная, «рубленая»: «На длинной ленте поручня лежат руки. Одна, другая, третья... Много рук. Между руками черный промежуток ленты. Кончился рабочий день, и руки лежат покойно, тяжко. Медленно ползут вверх, белые на черном. Отдыхают. Покоятся. Руки, руки. Некоторые в перчатках. Мужчины, женщины. Девушки... Может быть, и ее рука там, глубоко внизу, легла сейчас на этот поручень?»

Приведенный мной отрывок дает представление и о том, как его автор наблюдателен. Вот еще пример: «Вы слушали последние известия»,— сказало радио, и отец выдернул вилку, шнур закачался, шурша своими пзогнутостями и пристукивая вилкой по фанерной стенке шкафа. Отец в последний раз затянулся, и выдул дым в коридор, и запер дверь. Долго позвякивал алюминиевый номерок на ключе. Звенела, проваливаясь, сетка кровати под укладывающимся тяжелым телом. Во дворе дул ветер. Окно выходило теперь на спортплощадку, и слышно было, как щелкают, сталкиваясь, деревянные кольца турника».

Эти подробности только на первый взгляд могут показаться несущественными — ведь перед нами описание «мертвого часа»...

Курчаткин также весьма внимателен к слову и по-своему не менее наблюдателен. Но все-таки детали и подробности увлекают его меньше, чем Юрьенена. Он больше озабочен общим движением сюжета.

«Литературная Россия» справедливо отметила, что Курчаткин и Юрьенен в своих рассказах «воссоздают нравственную атмосферу жизни молодой семьи— подчас нервную, неустоявшуюся, пронизанную тревожной любовью». Но опять-таки делают они это по-разному. У Юрьенена драматический конфликт порой лишь угадывается по едва уловимым, таящимся в подтексте намекам. У Курчаткина конфликт обозначается сразу, дает о себе знать со всей остротой. Может быть, трактовка конфликта у Юрьенена тоньше. Зато у Курчаткина она темпераментнее.

Особенно характерны для Курчаткина рассказы «На шестом этаже крупнопанельного дома», «Свадьба», «Полоса дождей». Все они входят в его первую книгу «Семь дней недели», выпускаемую «Современником». В одном из них достаточно острый конфликт между молодыми супругами благополучно изживается. В других молодой писатель высказывает пристрастие к таким драматическим конфликтам, которые, достигая порой почти трагической силы, так и остаются неразрешенными. Не потому, что писатель не видит, как их можно разрешить, а потому, что он хочет, таким образом, как бы активизировать мысль читателя.

Действительно, объединяет Юрьенена и Курчаткина одинаково присущее им чувство современности. Во вступительной заметке к рассказу «Кормилец» Г. Гулиа сообщает, что Юрьенен работает сейчас над «своей первой большой вещью о людях труда — строителях Нурекской ГЭС».

У Амлинского была целина, у Орлова — Абакан—Тайшет и Саяны, у Жданова — геологические экспедиции. У Юрьенена — Нурек. Как сказал Луговской: «Но по нашим следам, по кострам и золе поколение юных идет на земле».

Заканчивая эти заметки о моих молодых и уже успевших несколько повзрослеть друзьях, хочу назвать еще одно писательское имя, ставшее известным сравнительно недавно.

В 1976 году «Советский писатель» выпустил первую книгу молодого писателя Анатолия Кима «Голубой остров». Некоторые произведения, вошедшие в нее, печатались в журналах. Так, например, один из лучших рассказов Кима — «Невеста Моря» — был напечатан в «Дружбе народов». Редакция даже отметила его премией.

Повести и рассказы Кима заслуживают особого подробного разбора, который невозможен в рамках этих заметок. Но, я думаю, каждый, кто прочтет «Голубой остров», сразу ощутит бросающееся в глаза своеобразие этой книги.

Своеобразен мир, куда властно ведет нас за собой писатель. Это окруженный синим океаном зеленый туманный остров Сахалин. Своеобразны люди, о которых писатель рассказывает: «Это смешанное, разноязыкое племя обладает каким-то неуловимым общим характером, напоминающим сахалинскую погоду — то с переизбытком синевы, солнца и яркой зелени, то в неизбывной грусти долгих серых дождей и глухого тумана...»

Герои Кима — простые, в самом прямом и точном смысле этого слова простые люди. Такова Невеста Моря. Она много лет собирает съедобные раковины и морскую капусту. Простая, совсем простая женщина! Но стоит писателю коснуться ее жизни и судьбы, как мы сразу понимаем всю глубину счастья и горя, радости и печали, ненависти и любви, таящуюся в ее душе. Таков персонаж повести «Собиратели трав» старый кореец До Хок-ро. Как и Невеста Моря, он собирает морскую капусту. На первый взгляд он так же прост. На самом же деле жизнь его ох как непроста!

Некоторые сюжеты Кима не следует воспринимать буквально. Порой это полубыль-полусказка, поэтическая легенда, притча. Но как бы ни были причудливы эти сюжеты, каждый из них проникнут любовью и, я бы сказал, нежностью к людям, непритворной заботой об их счастье.

Об одном из своих героев Ким пишет: «Он поразился той величайшей возможности, которая таится, оказывается, в простом счастье, и может это счастье получить каждый».

Ким хочет научить людей пользоваться этой «величайшей возможностью», но не скрывает, что им придется нелегко, ибо счастье не приходит само собой.



шего для юноши не только наставником, но и учителем жизни. Именно в паре Рогов — Генка, где так легко сбиться на заезженный штамп, и одержал свою главную победу автор. Рассказ о сложных, важных для обеих сторон отношениях наставника и ученика ни разу не подходит к опасной грани, за которой — нравоучительность, риторика.

Автор исподволь подводит своего героя к мысли о том, какую роль в его судьбе сыграл завод. Казалось бы, разрозненные жизненные эпизоды оказались вдруг соединенными жесткой причинной связью. Читателю дано наблюдать процесс формирования юноши, подростка, превращения его в гражданина. Ощутив в себе творческую личность, Геннадий Корольков с неизбежной закономерностью осознал и свое место в обществе.

Вместе с героями книги многое поймет и узнает молодой читатель, ибо, сопереживая литературным персонажам в их нравственных исканиях, он невольно откроет какие-то новые черты и в самом себе и в окружающем мире.

Еремей
ПАРНОВ

ЗА ГОРИЗОНТОМ БУДНЕЙ

Перевернув последнюю страницу этой книги, некоторые читатели, я уверен, посетуют на свою слишком прозаическую жизнь. Вот, мол, другие люди работают в группах поиска возвращающихся на Землю космических экипажей или поднимают затонувшие подводные лодки, опускаются в глубочайшие пещеры, управляют вертолетами... Вот это жизнь — яркая, насыщенная, полная приключений, постоянного риска.

Такого рода читателям я советую еще раз обратиться к книге «Медаль Колумба» («Молодая гвардия», 1976), чтобы за романтическим антуражем описываемых в увлекательных очерках событий разглядеть суть, главное — романтику дела. Авторы Всеволод Арсеньев и Борис Костин не случайно приводят старинное изречение: истинная слава Колумба состоит даже не в том, что он открыл Америку, а в том, что он туда отправился. Стремление людей «преодолеть тяготенье земное», заглянуть за горизонт обыденности, повседневности, характеры сильные, недюжинные, неуспокоенность— вот что определяет выбор героев. И авторам удается убедительно показать, что подобные черты отнюдь не принадлежность профессии, а свойство характера, воспитания, жизненной позиции.

Книга строго документальна. Сухие на первый взгляд факты: выписки из судового журнала терпящего бедствие корабля, дневник испытателей, добровольно «разыгрывающих» вынужденную аварию... И оказывается, что документы, точная хронология событий, даже служебные инструкции способны воздействовать на наши ум и сердце ничуть не меньше затейливых сюжетных коллизий.

В книге немало страниц, посвященных «неожиданным» подвигам людей самых разных профессий в мирное время. Но впрямь ли уж таким неожиданным? Мне пришлось в этом лично убедиться. У вертолетчика Сергея Павлушина, с которым авторы встретились на Тюменской земле, работа нелегкая, но в общем-то будничная. Сергей Павлушин попал в аварию: отказал двигатель. На борту были пассажиры... И пилот с честью выдержал испытание: используя ничтожные планирующие свойства старенького МИ-1, Сергей посадил машину... Эту историю я узнал от самого Павлушина, и в этом еще одна характерная особенность книги «Медаль Колумба»: ее героев можно встретить в жизни. Вместе с тем герои очерков — носители типических черт нашего современника, первопроходца и первооткрывателя. Встреча с такими людьми—праздник для молодого читателя.

Марк
ГРИГОРЬЕВ

ЛИРИЧЕСКАЯ ПРЕМЬЕРА

Ныне у поэтов маститых стали все больше выходить однотомники, двухтомники. Есть весомый однотомник и у Сергея Острового. Но вот передо мной его самая недавняя тоненькая книга, наверняка тоньше любой из 25 предыдущих всего-то 1,40 условных печатных листа. («Моя новая лирика». Библиотека «Огонек», 1976 г.) Читаю Сергея Островoго и убеждаюсь, что очень нужны именно такие «малые» формы. И дело даже не в стотысячных тиражах, массовости и доступности — и по тиражам, и по массовости, и по доступности «Библиотека «Огонек» давно уже не единственная,— а в определенной форме разговора с читателем, в том отборе стихов, который диктуется именно малой площадью. Хочется выйти к читателю с самым главным, непременно открыть что-то для него новое. В самом деле, скольких людей так же, как меня, обрадует такое простое и очень важное открытие, сделанное Островым:

И капель застучала,
Будто сердце в груди...

Стихи Сергея Островoго я, конечно, знала и раньше. Тем не менее огоньковская книжка представила его по-новому. В ней еще отчетливей, чем раньше, проявились характерные для поэта зоркость, наблюдательность, умение заставить читателя почувствовать чудо повседневной жизни, привычного пейзажа.

Кстати — и это тоже еще более отчетливо, более увереино,— поэт не ограничивается ролью гида, не только обращает наше внимание на то или иное чудо, но тут же завязывает с читателем непринужденный разговор, поднимает важнейшие вопросы морали, нравственности.

Каждый поэт знает, что значит выступить вот так, заново, с совершенно новыми стихами. Это примерно то же самое, что для актера — премьера... Конечно, есть газетные и журнальные подборки, но они не дают все-таки такого ощущения: там 3—5, от силы 10 стихотворений, а здесь почти четыре десятка. Это, если уж продолжить сравнение, примерно то же, что отдельные репетиции, сцены, из которых и складывается спектакль как цельное, завершенное действие. Так же возникает новая книга, складывается премьера книги.

У Сергея Островoго такая премьера состоялась. С первых строк он ведет разговор о главном, о том

...Что такое есть
стихотворенье?
Работа это? Или озаренье?
А что такое есть
стихосложенье?
А может быть, оно
стихослуженье?
И в этом суть? И делу голова?
Все остальное — просто так.
Слова.

В этом разговоре его тоже встречаются «просто так. Слова». Что и понятно — не все улеглось, остыло. Зато есть самое неповторимое ощущение — неповторимости.

Екатерина
ШЕВЕЛЕВА



и паруса и звездолеты...

В 1944 году в журналах «Краснофлотец», «Техника — молодежи», «Новый мир» появились рассказы неизвестного тогда автора — геолога и палеонтолога Ивана Ефремова. Страна еще воевала, но победа приближалась, победа не вызывала сомнений, и мысли обращались к послевоенным делам.

Вот о романтике странствий по мирной земле и мирному морю, о героизме скромного, будничного труда и заговорили знаменитые «Рассказы о необыкновенном» Ефремова. Весь послевоенный период советской фантастики пошел от них.

Ефремов прожил насыщенную жизнь. Всего было много: странствий, трудов, впечатлений, размышлений. Рано оставшись без родителей, он стал воспитанником красноармейского полка, участвовал в штурме Перекопа. В семнадцать лет был штурманом, плавал на Тихом океане и Каспийском море. Оставил море ради геологии и к двадцати годам открыл кладбище древних земноводных на далеком севере. Экспедиция за экспедицией в Сибири (разведка трассы БАМ, между прочим), потом в Монголии. В тридцать три года Ефремов — доктор биологических наук. В дальнейшем создатель тафономии — особой науки о том, как и где искать остатки ископаемых животных. В 1952 году — Государственная премия за труды по тафономии.

И одновременно литература. В 1957 году в журнале «Техника — молодежи» печатался с продолжением его роман «Туманность Андромеды». На этот раз речь шла не о скромных буднях, а о романтике грандиозного, космического, вселенского, о Великом Кольце дружественных внеземных цивилизаций, о подробностях земной жизни через тысячи лет. Этим романом начался новый период советской фантастики — смелый, масштабный, с большими научными планами.

Эту же тему развивал И. А. Ефремов и в рассказе «Сердце змеи» (Cor Serpentis), опубликованном в первом номере журнала «Юность» за 1959 год.

Фантастика чутко отражает настроения современности. Истина покажется парадоксальной для тех, кто не знаком с этим жанром. Но связь тут своеобразная. Фантастика повествует не о делах, а о надеждах и мечтах: изображает, выдвигает, обсуждает, иногда и осуждает мечты. Мечты изменчивы, как облака: иные дают благодатный дождь, иные тают, иные меняют форму. И фантастика довольно резко меняет курс.

При этом нередко меняются лидеры. Не каждому писателю-фантасту по плечу новый взгляд на вещи. Ефремов, однако, оставался лидером всегда. Для каждого периода находил и личные впечатления и оригинальные мысли.

Мало того. Если фантастика, отзываясь на мечты и надежды, опережает свое время, Иван Антонович всегда опережал фантастику. Именно потому он и был зачинателем в каждом новом периоде. Ведь рассказы о послевоенном труде он писал во время войны. И роман о космическом будущем человечества — до того, как весь мир взбудоражил первый советский спутник.

А когда другие фантасты ринулись в космос — от планет к звездам, от звезд к галактикам, Ефремов писал «Лезвие бритвы» — роман о нераскрытых возможностях человека, физиологических и психологических.

Только сейчас, в 70-х годах, наша фантастика становится психологической.

В «Лезвии бритвы» («Мое «Лезвие»,— говорил Ефремов вкусным басом,—полным-полно оригинальных



авторских мыслей: и о борьбе противоположностей в природе, и о единственно возможном решении, узком, как лезвие, и о совершенстве этого решения, и о красоте как нашем восприятии совершенства, и о скрытых силах организма, и о памяти веков, и о многом другом»). Я даже как-то спросил Ивана Антоновича, не пишет ли он сборник статей — эссе о природе и человеке. Но он покачал головой. Нет, он хотел, чтобы его мысли доходили до широкого читателя с помощью увлекательного сюжета. И в результате романы Ефремова обязательно надо читать дважды: сначала, чтобы проследить за интригой, а потом, когда знаешь, чем дело кончилось, уже не волнуешься за героев, посмаковать и обдумать рассуждения автора.

Последний роман — «Таис Афинская» — не фантастический, исторический — о современнице Александра Македонского. Он посвящен роли женщин в человеческом обществе. Тема эта проходит через все большие романы Ефремова. Женщина для автора не только эстетическое совершенство, воплощение красоты, украшение жизни, очищающее, облагораживающее начало. Она носительница высоких идеалов искусства и высшей мудрости мирной жизни, направляет и укрощает грубоватых, не в меру самолюбивых и воинственных мужчин. С возмущением пишет Ефремов о неравноправии полов, укоренившемся при христианстве. Смелая, свободная, образованная, самостоятельная женщина, соратник, а часто и руководитель мужчины — такова идеальная героиня Ефремова.

Правда, материнство отходит у него на второй план. Иван Антонович считал домашнее воспитание кустарным. В «Туманности Андромеды», например, родители отдают годовалых детей в интернат и только самые страстные мамы пестуют своих младенцев на обособленном «Острове Матерей».

Может быть, следующий роман Ефремов написал бы о воспитании?

В последнее время ученые все чаще говорят о том, что интерес к физике сменяется столь же широким интересом к биологии, а та, возможно, уступит психологии, стало быть, и педагогической психологии.

«Таис Афинская» вышла в 1972 году. Вероятно, уже тогда Ефремов размышлял о проблемах, которые будут занимать мечтателей, футурологов и фантастику в 80-х годах.

И не успел. Знаете, как это бывает? Торопишься со срочными мелочами, важные дела откладываешь на неделю, на месяц...

Кто-то сказал мне, что Ефремов только что вернулся из санатория. «Ну и ладно,— подумал я.— День-два надо же отдохнуть человеку после приезда. Позвоню завтра».

А назавтра Ефремова не стало.

И, протягивая мне красно-черную повязку, редактор Ефремова вздохнул:

— Вот был человек, о котором никто не мог сказать плохого.

Да, могли не соглашаться, спорить, критиковать, могли и завидовать даже. А плохого сказать никто не мог.

Г. ГУРЕВИЧ

Александр Павлов






Александр Павлов живет в Магнитогорске. Работал вальцовщиком на металлургическом комбинате, служил в армии. Сейчас — сотрудник заводской многотиражки, заочник Литературного института имени Горького.



Куштумга

Когда шуршит колючая шуга,
точа и разрушая берега,
у дна тревожа шуструю форель,
бежим туда, где жгуча и туга,
спадая с гор, клокочет Куштумга
под мелкою листвой осокорей.

Она летит, взрываясь и рыча,
в ущельях тесных камни волоча,
разбитые мостки, вершинный снег...
Башкирия — серебряный колчан,
где речки-стрелы с горного плеча
срываются в долины по весне.

Дом

Мы забыться хотели,
да забыть не смогли
старый дом у котельни
в антрацитной пыли.

Засыпной и каркасный,
крытый толем дворец,
под восходами красный,
голубой в светунец.

В незабытой сторонке
столько лет он стоит.
Только водоколонка
все гремит и гремит.

Только веснами слышу:
он встречает метель,
конопаченной крышей
окунаясь в апрель.

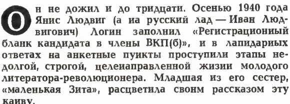
Бросив времени вызов,
все плывет по весне —
воробьи на карнизах
и герань на окне.



Георгий **МИРОНОВ**

ЯНИС ЛОГИН — ЖУРНАЛИСТ И ПОЭТ





Он не дожил и до тридцати. Осенью 1940 года Янис Людвиг (а на русский лад — Иван Людвигович) Логин заполнил «Регистрационный бланк кандидата в члены ВКП(б)», и в лапидарных ответах на анкетные пункты проступили этапы недолгой, строгой, целенаправленной жизни молодого литератора-революционера. Младшая из его сестер, «маленькая Зита», расцветила своим рассказом эту канву.

Латыш, из крестьян-бедняков: с 12 лет пас чужой скот в своем Абренском уезде в Латгалии, соседней с СССР провинции Латвии; батрачил на «серых баронов». После отличного окончания Балвской гимназии бросил вызов и ищущего своей и враждебному бедняку общественному укладу — подал бумаги в университет, да еще на «господский», привилегированный философско-филологический факультет. Жизнь мстила Янису: в отцовском доме ходил в рванье, в Риге голодал. Несколько раз прерывалась учеба, все службы мешали: военная (рядовой кавполка) и чиновная (конторщик министерства финансов), работа в «независимой» прессе (информатор в газете «Брива земе» — «Свободная страна») и подневольным земледельцем (батраком). Подвергался преследованиям за политические убеждения: как комсомолец участвовал в нелегальных изданиях компартии для юношества. Когда была восстановлена в Латвии Советская власть, молодой коммунист Логин стал референтом отдела пропаганды министерства общественных дел: читал лекции рабочим, а осенью вернулся в университет — доучиваться.

Еще значится в бланке, что заполнявший его свободно владеет, кроме родного латышского, русским, немецким, английским, древнегреческим, финским языками, числится резервным рядовым, наград не имеет...

Первые стихи Янис печатал в подпольных молодежных газетах под излюбленным своим юношеским псевдонимом «Дундурс» — «Овод». У прогрессивно настроенной столичной молодежи — рабочих, служащих, студентов, гимназистов — его поэзия нашла живой отклик: стихи и поэмы переписывались, тайно распространялись по Риге. Ведущие мотивы творчества — неприятие буржуазного образа жизни, боль за страдания человека, готовность к решающему бою за свои социальные идеалы.

Пришла в сороковом на год свобода. Поэт впервые печатался под своим именем. Готовил сборник «Песнь человека» («Cilvēka dziesma»), в который собирался включить, кроме поэмы «Последняя схватка», стихи, проникнутые духом бунтарства, непокоя. Европу сотрясала война, и поэзия Логина рванулась в сражение за будущее.

Янис осознал, что раньше был не прав в своей категоричности:

> Больше стихов писать не хочу —
> Для мира ненужная эта работа.
> («Мне надоело!») [1].

[1] Там, где не оговорено, перевод автора очерка. Подстрочники выполнены Зитой Логин-Мача и Валдой Волковской.

Теперь четко звучала его идейная, нравственная, поэтическая декларация: «В бой самый злой — в открытый, в рукопашный — пойду...» («Поэт»).

Зита Логин-Мача рассказала: брата арестовали местные фашисты через две недели после прихода в Латвию их хозяев — гитлеровцев, бросили в уездную тюрьму в Абрене, кинулись в дом с обыском. Ничего не нашли — Янис в первые дни войны приехал домой и наказал родителям, чтоб его бумаги спрятали да заодно приготовили в сарае под полом тайник на случай, если от него придет кто-то из товарищей.

Но вместо них снова явились латышские полицейские — они уже не скрывали, что действуют по приказу рижских гестаповцев, в руки которых передали Яниса. Выродки теперь чувствовали себя смелее — говорили не от имени «маленькой Латвии», а «великой Германии». Перевернули все вверх дном, но до спрятанной матерью Яниса Барбалой Якубовной тетрадки его стихов не докопались.

Из Центральной тюрьмы в 1942 году, продержав 15 месяцев, Яниса перевели в концлагерь Саласпилс, что в 17 километрах от Риги. В семье сохранились письма, посланные им из лагеря, первое 10—14 октября, второе датировано 12 ноября. Сколько в обоих многозначности в недосказанном — поэт прошел школу партийного подполья...

«Приветствую! Получил от вас передачу, что Доминик (дядя поэта.— Г. М.) привез: масло, сыр, хлеб, яички и сахар — большое спасибо за это, чувствую сразу себя лучше. В данный момент я нахожусь не в тюрьме, а в Саласпилсском трудовом лагере. Сюда мне можно посылать и посылки почтой по адресу: Янису Людвигу Логину Трудовой лагерь Саласпилс.

Итак, продукты посылайте мне непосредственно. О получении сообщу письмом. Одежды не нужно. Если есть возможность, пришлите марок 20. Деньги посылайте не мне, а Янису Стывриньшу, Гертрудес, 62—39, Рига. Когда был в тюрьме, пытался вам послать весточку с людьми, которые ходили на работы, и, верно, вы уже получили несколько писем. Их сохраните. А по-иному ни в какие дела и разговоры не вступайте, если что есть, пишите Янису Стывриньшу или мне, один раз в месяц я имею право получать письмо. Открытку получил, но посылка до меня не дошла, т. к. через тюрьму их не выдавали, а сейчас в этот лагерь можно посылать, другие получают. Всего хорошего».

Письмо миновало цензуру и попало в руки адресата без пометки «гепрюфт» («проверено»).

В письме весь характер Яниса — неспокойный и твердый характер человека, который всегда останется верен своим взглядам. Центральная тюрьма для него — год истязаний, пыток, допросов. Но от него не добились ни показаний, ни покорности — даже в письме протест не заглушен: Янис намекает на голод в лагере, инструктирует родных, чтоб с посторонними помалкивали, но «если что есть» — какая-то ниточка от боевых товарищей с воли,— чтобы сообщили... Кем был для Яниса Стывриньш, можно догадываться: поэт доверял ему. Как рисковал этот человек, помогая коммунисту! И знаем: стихи Яниса выбрались за лагерную ограду, кто-то их пронес...

Другое письмо, подцензурное, но и в нем иносказания: «Я крепок и здоров. Чего мне здесь не хватает, вы знаете» и «О возвращении домой ничего сказать не могу». Напомним: письмо от 12 ноября 1942 года; с Востока — известия об уличных боях в Сталинграде, через неделю начнется наше всесокрушающее наступление, которое так много изменит в судьбах мира... Ранней весной 1943-го, после великой победы на Волге, Янис пришлет по почте, но минуя цензора-гестаповца, письмо, полное надежд: ждите, скоро явлюсь домой... Теперь-то мы знаем, что эти настроения связаны с готовившимся в Саласпилсе восстанием заключенных. Но летом написал Стывриньш: «Яниса в Саласпилсе уже нет...» Администрация о судьбе заключенного Логина не сообщила.

Но не будем забегать вперед.

По прибытии в лагерь Яниса допросил начальник охраны, давний работник латышской полиции. Саласпилсу предстояло стать пунктом уничтожения людей многих национальностей Европы. Поэтому старый шуцман обрадовался Янису, знавшему языки.

— Господин комендант, обершарфюрер Рихард Никкель, назначил тебя писарем барака Б-9,— сказал он Янису.— Старайся оправдать его доверие. Проштрафишься — отправим в сосны...

Янис вошел в пропахший пòтом и сивухой дом охраны простым заключенным, вышел отсюда «господином шрайбером», получившим из рук палачей власть над своими бесправными товарищами. И он по-своему использовал эту власть.

> На жизнь — самый большой труд,
> Желал бы я подать, друзья, вам руку...
> («Посвящение»)

Так писал он накануне прихода в Латвию Красной Армии.

> Чем жизнь моя прежде была?
> Только тяжелым сном,
> Она давила меня
> Жестким своим ярмом.

Эти стихи Янис распространил среди заключенных. Они звучали как призыв к борьбе:

> Если умру я юным —
> Искры души моей
> Осветят дорогу людям,
> Сделают жизнь светлей.
> («Последняя память»)

Янис Логин, советский журналист и поэт, став писарем барака Б-9, продолжал борьбу с врагами всеми доступными ему средствами.

Он присматривался к людям, вступал в беседы, завязывал знакомства — у писаря для этого были возможности.

Выделялся Карлис Фелдманис — инженер-строитель, перед нападением гитлеровцев он руководил сооружением оборонительных рубежей на границе. Прошел «централку», солдат русской армии в первую мировую и отец солдата Красной Армии. Надежный, твердый человек, он может стать руководителем лагерного сопротивления.

Организация, созданная Фелдманисом, Логиным, Рейдниеком, Стрельчиком, Лакомкой, начала готовить восстание. Несколько изнуренных голодом, пытками, издевательствами людей — коммунистов, беспартийных, комсомольцев ночами планировали, как перебьют охрану, убегут в леса, присоединятся к партизанам или сами организуют отряд. Созданы три группы: первая занимается агитацией и пропагандой среди заключенных (ответственный Янис Логин), вторая — готовит побег, третья — обеспечивает его оружием и взрывчаткой.

— Латыш? — велено спрашивать писарю Логину у поступающих в лагерь.

Для Яниса главное не национальность узника — латыш ли, русский ли,— а его идейная принадлежность. Он искал и находил единомышленников среди русских и латышей, белорусов и украинцев, чехов и

поляков, антифашистов немцев и испанцев. Он уверен в победе, но допускает, что многие ее не увидят. Однажды сказал товарищу:

— Знаю, какая участь мне здесь уготована. Предвижу, что мои зубы будут блестеть на солнышке. Но это не меняет дела, стою не за себя лично. Будем вести борьбу всем запасом наших патронов.

Я бунтарь и нигде не ищу покоя,
Мне противна жизни сытая тишина.
Время бить барабанщикам воинскую тревогу.
Время всех, кто дремлет, отрывать от сна.

(«Не ищу покоя»)

Стихи Яниса (без имени автора) — желанные гости в бараках. Как и редкие советские журналы, газеты и листовки, проникающие за проволоку.

По заданию подпольной группы военнопленные с Сауриешских каменоломен несли взрывчатку, бикфордов шнур в известные не многим тайники. Изготавливались самодельные гранаты, заключенные ухитрялись слушать московские передачи. Радовали известия с фронтов. Далеко от Волги и Дона до Даугавы, но война уже шла с востока на запад...

Ничего, кроме лагерной документации, не имел права писать шрайбер Логин, но он сочинял стихи. Напишет, выправит, заучит наизусть, прочитает друзьям. Бумагу сожжет. А стихи разлетятся по лагерю.

Завтра будет солнце
Радостно светить.
Это наша доля —
Новый день творить!..
Мир, который в рабстве
Сотни лет держали,
Голодом томили,
Били и пытали,

Чей в оковах разум
Палачи давили,
Огненное сердце
Кровью обагрили...
Это наша доля —
Наш последний бой,
Хоть и не увидим
Солнце над землей.

(Пер. Г. Горского.)

Сжигает Янис и листки со своими статьями. Пожалуй, это не статьи—антифашистские памфлеты. Поэт в лагере работает над литературными вещами не менее напряженно, чем в довоенную пору. Помогает закалка журналиста-подпольщика, принужденного в годы ульманисовской диктатуры обходиться без постоянного рабочего места, трудиться в самых неподходящих условиях.

Янис рассказывает о «золотой лихорадке» в США, охватившей мир «желтого дьявола». Но лихорадка господствует и в среде фашистов из комендатуры Саласпилса, они из того же мира капитала. У своих жертв сдирают кольца, отбирают часы, вырывают коронки. «Золотая лихорадка» на гитлеровский манер. Лекция о наполеоновских войнах. Всюду побеждал завоеватель — в песках Египта, на австрийских равнинах, но одна страна победила захватчиков. На ее просторах закатилась звезда Наполеона...

Гестаповцы давно подозревали, что в Саласпилсе действует подполье. Активизировал деятельность сыскной аппарат. Настроение среди заключенных гнетущее, подавленное. И Янис решился на открытое пропагандистское выступление. Вечер 21 января 1943 года, день памяти Ленина. В смрадном, тесном помещении люди хлебали бурду — лагерный ужин. Янис вышел, собрал в углу друзей, снял шапку и громко произнес запретное слово:

— Товарищи!

«Время — начинаю про Ленина рассказ...»

Он читал поэму Маяковского наизусть. Читал Пушкина — тоже на русском, Райниса — на латышском.

Аплодисментами наградила аудитория эту смелую манифестацию.

В феврале арестовали Фелдманиса, он всю вину взял на себя, но аресты продолжались. «Черная Берта» приехала за Янисом. В Саласпилс никто из них не вернулся. Их привезли на казнь в Бикерниекский лес в ночь на 6 мая 1943 года.

До Победы оставалось целых два года.

Крытая машина, в которой везли Яниса, его друга и соратника Арвида Ренднека, других обреченных, ныряя на ухабах, въехала в лес.

«Раскачивай машину!» — крикнул Янис. Опрокинули грузовик, но дверь не поддалась. Вспыхнувшие фары осветили ряды смертников, окруженных автоматчиками. Лязгнули засовы.

— Выходи! — крикнул немецкий офицер.

Никто не вышел. Солдаты побоялись лезть внутрь. Побежали за шестами со специальными крючьями, принялись ими вытаскивать тех, кто сопротивлялся.

Они дрались, как львы, громадный могучий Арвид и щуплый маленький Янис. Вытащили их — оба в крови, одежда висит лохмотьями. Замершая шеренга колыхнулась, несколько голосов начало: «Вставай, проклятьем заклейменный». Пели на русском, латышском, немецком, белорусском, еврейском, цыганском. Фары погасли, снова зажглись. Крик офицера «фойер!», стукотню автоматов перебивал, глушил торжествующий напев «Интернационала».

Как просто самому себя убить.
Лишь измени себе — и к стенке не поставят.
И уцелеешь... Но тебе не жить:
Воспоминания тебя раздавят.
Последний час. Разрешено грустить.
Душа свободна от ожесточенья...
Мы выиграли главное сраженье:
Мой друг, прекрасно человеком быть —
И это в нас уже нельзя убить!

(«Перед казнью». Пер. В. Леоновича.)

Тайными путями из тюрьмы эти последние, предсмертные стихи поэта проникли к его товарищам по саласпилсской неволе. Их читали в бараках и заучивали наизусть. Янис Логин продолжал бороться и после гибели.

И стоит, как церковь на крови,
Каждое его стихотворенье.

В армии он числился резервным рядовым. Янис остался бойцом, без званий, наград, но не резервным, а воином передовой цепи.